

СТРЕЛЕЦ

«Стрелец» –
ежемесячник литературы, искусства
и общественно-политической мысли

3

Март
1984
\$3.50

В номере:

проза

поэзия

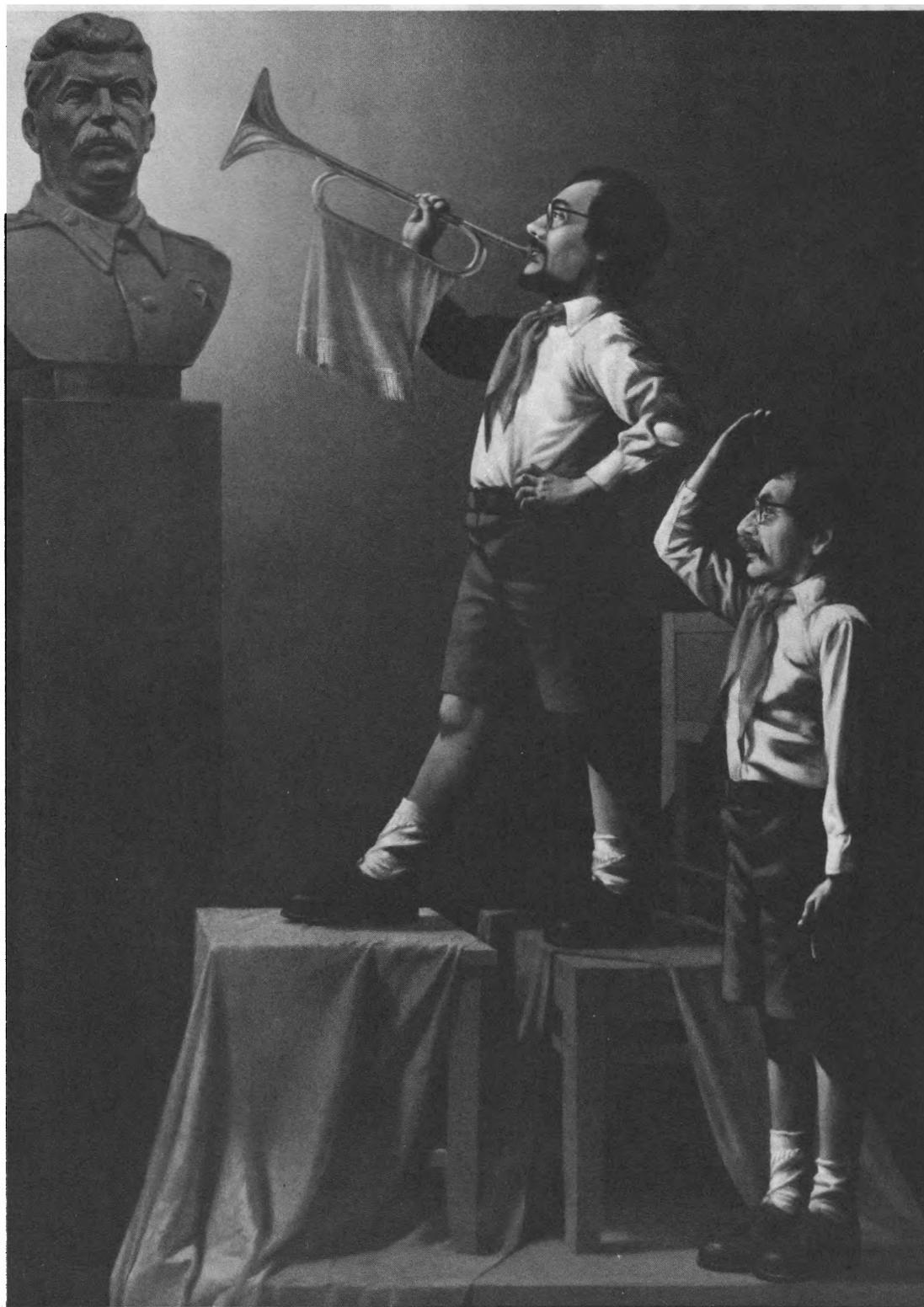
литературная
критика

воспоминания

кино

литературный
архив

изобразительное
искусство



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

предлагает

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ТА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ТА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПОТАЕННЫЙ
ПЛАТОНОВ

Сборник неизвестных и малоизвестных рассказов писателя. Составитель и автор предисловия профессор Михаил Геллер.

180 стр. \$10.00

Чеки и денежные переводы
просьба направлять по адресу:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ



Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Заместитель главного редактора
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:

НИНА АЛОВЕРТ
АРТУР ВЕРНЕР
НАТАЛЬЯ ШАРЫМОВА



Издательство
"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Тел. редакции:
201-434-0378; 201-432-9636

Адрес редакции во Франции:

Alexandre Glezer
Chateau du Moulin de Senlis
91230 Montgeron
France



Цена номера — \$3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка — \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

© 1984 by "Strelets"
All rights reserved

На первой странице обложки репродукция картины Виталия Комара и Александра Меламида "Двойной автопортрет юных пионеров", 1982-83.

- 4 Юрий Гальперин — Два рассказа
6 Юрий Кублановский — Согласно геральдике. Из новых стихов
7 Юрий Милославский — Сведения, исходящие от Петрова.

Отрывок из романа

- 12 Лев Лосев — Новые стихи
14 Юрий Мамлеев — Из ранних рассказов
19 Алексей Ковалев — Из первых рук. Рассказ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- 24 Сергей Юрьенен — «Спасутся лишь крысы с крестом на спине»
26 Марина Темкина — «Облагородить чтоб подошвы пешеходов»
27 Ксана Мечик — Ностальгия по одиночеству

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- 28 Анатолий Мариенгоф — Бритый человек. Роман

ВОСПОМИНАНИЯ

- 34 Вадим Делоне — Оступившегося — толкни! Из книги воспоминаний

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

- 36 Валерия Сусанина — Русский соц-арт в Нью-Йорке

КИНО

- 38 Ольга Шакова — «Душа к губам прикладывает палец...»

ПАМЯТЬ

- 43 Ночь смерти Сталина

ОТ РЕДАКЦИИ

Читатели в письмах к нам спрашивают: какова направленность "Стрельца", каким художественным тенденциям он отдает предпочтение. Таким же вопросом задается и критик Анатолий Копейкин в еженедельнике "Новый американец".

Мы хотим подчеркнуть, что на страницах нашего журнала, занимающего позицию безусловного антитоталитаризма, не могут найти себе места лишь авторы, проповедующие прокоммунистические, профашистские, шовинистические, националистические и другие человеконенавистнические идеи. В остальном мы придерживаемся плюрализма, стараясь в то же время отбирать произведения бесспорно талантливые, оригинальные, ранее не публиковавшиеся или практически неизвестные (в разделе "Литературный архив") современному русскоязычному читателю.

В частности, вы уже могли видеть в ежемесячнике прозу и реалистического характера (В. Войнович), и модернистского плана (Ю. Милославский), и сюрреалистического толка (Ю. Мамлеев).

В разделе "Изобразительное искусство" мы публикуем статьи о художниках разных направлений: экспрессионистах, романтических реалистах, концептуалистах...

Что же касается предпочтения — оно все-таки есть: при всех равных достоинствах, мы даем в первую очередь зеленую улицу материалам, поступающим к нам по каналам Самиздата.



Два рассказа

УТРО

ПРЕЖДЕ ШОФЕРУ ЛОГУНОВУ НРАВИЛОСЬ ПРОСЫПАТЬСЯ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ДО ТОГО, КАК ЗАЗВЕНИТ БУДИЛЬНИК. ОН НЕ СМОТРЕЛ НА ЧАСЫ. ОН ЗНАЛ, ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ, СЛАДОСТНЫХ МГНОВЕНИЙ В ТИШИНЕ, КОГДА МОЖНО ПОТЯНУТЬСЯ, ВЫПРЯМИТЬ НОГИ ПОД ОДЕЯЛОМ, ЗЕВНУТЬ И ВЗДРОГНУВ ОТ НЕОЖИДАННОГО, РЕЗКОГО ЗВУКА В ПУСТЫННОЙ ТЕМНОЙ КОМНАТЕ, НАКРЫТЬ ЛАДОНЬЮ ЗЛОВРЕДНЫЙ ПРИБОР И НАДАВИТЬ КНОПКУ.

Но последнее время Логунов спал плохо. Просыпался по ночам. Долго лежал с закрытыми глазами и не мог уснуть. Ему казалось, жена на соседней кровати не спит, а боязливо таится под тяжелым одеялом. Но он слышал ровное дыхание, открывал глаза и видел лицо: бледное пятно в темноте и теплые очертания рта. Она спала. Это раздражало его, и Логунов чувствовал себя беспомощным.

Вот их вдвое (думал он), и все-таки он один. И, хотя ни в чем не виноват, он, а не она, мучается — не спит по ночам. А жена, грешная перед ним несмываемым своим грехом, за день наплакавшаяся, намаившаяся, спит и хоть бы что. Баба в слезах выплачет и горе, и обиду, и беду, и вину свою. Вот она и чистая. Обижайся или не обижайся, все одно. И прощение ей нужно как лекарство, слова для успокоения. Что слова? Сказать, конечно, можно — пусть успокоится, зачем человека мучить. Но в сердце останется. Из сердца не выкинешь, не забудешь. И выходит, что всякое прощение ложь. И надо не думать об этом.

Но Логунов думал. Притупилось чувство обиды, поселилась с тех пор пустота под сердцем. Выгорело в нем что-то, а пепел рассеялся, развеялся — не соберешь. Разбитую чашку не склещишь. Пей из нее по гроб свой, делай вид, что трещины нет, — пей, как из новой. Только пальцами осторожно придерживай, чтобы не рассыпалась. Со временем станешь видеть, чувствовать послабее, может, и трещину свою перестанешь различать. А пока...

Он подавлял это чувство — оставалась невысказанная досада. Долго ворочался. Перекладывал подушку, расправлял сбившуюся простыню. Жена спала. А, может быть, она слышала, да не подавала виду. Наконец, Логунов забывался. И утром просыпая мрачный, разбитый, без злобы, без радости, подчиняясь нежеланию, а требованию заведенного порядка. Движения его были машинальны, а в мыслях присутствовал автоматизм.

Кровати их, прежде соединенные вроде бы как в одну двухспальную, теперь стояли врозь. Обычно Логунов подымался певым. Теперь каждый раз, когда он сбрасывал простыню, постель жены была пустая и холодно белела. Мария на кухне готовила завтрак. Он одевался, наощупь отыскивал тапки под кроватью и шел умываться. Холодный воздух пощипывал тело. Это ощущение смутно напоминало давние ощущения детства, заставляло думать о предстоящем дне.

Точнее, он не думал, — он знал, ясно представлял свой день. Как пойдет в гараж, и холодные светлые боксы, грузовики среди сугробов на стоянках. Как будет заливать горячую воду в радиатор и слушать слабое потрескивание в трубках. А, может, придется помучиться с паяльной лампой, пока не заведет мотор. Потом заправка. В конторке диспетчерской жарко натоплено и тесно — ни повернуться, ни вздохнуть. Промасленные ватники, черные треухи, соленые шутки шоферов. Нинка-диспетчер в окошечке, синяя гладкая путевка. "Распишись-ка, Логунов. Чего пялишься, не проснулся еще!..." К вечеру путевка делается грязная, мятая. А дорогу грейдеры уже расчистили. И он выедет на бетонку: прямую, узкую, посыпанную песком. И будет жать "до полика" и слушать, как бы не застучали клапаны. Ждать, что вот-вот занесет задний мост, но все-таки жать. И только на спуске, у моста через черный незамерзающий ручей отпустит правую ногу и выжмет сцепление.

Мария накрыла на стол, переложив яичницу с салом со сковороды на тарелку.

— Накурился натошак и небритый, — сказала она.

Логунов качнул головой:

— Чего не садишься? Будет тебе крутиться, садись.

— Не хочу. Аппетиту совсем нет. На работе поем.

— Что с тобой делается? Совсем по утрам ничего не ешь.

К доктору пойд.

— На что доктор здесь. Сон плохой, вот и вся болезнь.

— Я, вроде, не мешаю, отчего же сон плохой?

— Может, оттого и плохой, — сказала Мария. — Ешь-ка ты лучше, в гараж опоздаешь.

Шофер поднял голову. Она стояла перед ним, бледная со сна, с красными глазами, в стареньком своем платье из коричневой шерсти, с полотенцем кухонным на плече. Руки ее были тонкие, даже изящные от природы, но огрубевшие от холодной воды, стирки, мытья посуды; еще недавно по ночам нежные и проворные, вдруг слабеющие, как все ее тело, сильное и белое, бьющееся в темноте... И чужие руки на этих покатых плечах.

Логунов вздрогнул и почему-то отчетливо вспомнил, как однажды в школе учительница говорила об отце. Отец работал на чугунолитейном заводе и погиб под скатившейся вагонеткой, спасая кого-то. Вечером маленький Логунов долго плакал и не мог уснуть. Мать не спала. Беспokoйно скрипела ее кровать. Наконец, он забылся. А среди ночи проснулся вдруг и услышал шепот матери: "Любишь меня?.." И сдавленный мужской шепот. Он спрыгнул на пол и, шлепая босыми ногами по чистым, вымы-

тым, широким половицам, вышел в сени. Набрал из ведра полную кружку холодной воды и выпил. От воды ломило зубы. В сенях дуло и пронизывало насквозь. Он вернулся, лег и тотчас же уснул...

— Погоди, время есть еще, — сказала Мария. — Чаю налью.

— Не хочу.

Он стал натягивать ватные брюки, достал замазанную куртку из-за шкафа.

— Так и пойдешь?

Мария подошла почти вплотную и, не подымая глаз, смотрела прямо в высокое его плечо. Он видел чистый, белый лоб ее, и как дрожат пушистые ресницы. Близкое тело дожнуло теплом. Он взял ее за узкие плечи. Она вздрогнула.

"Баба, и есть баба. Сон плохой... Надо сказать, чтобы койку свою опять к моей придвинула. Сон у нее плохой. Ничего, как-нибудь вместе выпечимся..." — и Логунов усмехнулся, но ничего не сказал. — "Вечером скажу". И вышел вон.

Ему нравилось думать на ходу. Он думал о своем дне, о машине, но где-то на самом дне теплилась мысль о сегодняшнем вечере, и как все будет. Он усмехался чему-то своему, даже самому себе непонятному чему-то. Сделалось тепло и спокойно. Шаги его были неторопливы. Скрипело под валенками. Светились квадраты окошек. Хлопали двери. Белые дымы поднимались над бараками вертикально вверх. Ночью выпал снег. В голубых сумерках поселок просыпался чистый, свежий, такой незапятнанный, каким и не был никогда.

СТРАННЫЙ БОБ

— Она не принимала меня всерьез, — сказал Борис Дмитриевич. — Теперь это не имеет значения.

Был серенький октябрьский вечер, глухой и дождливый, когда листья на дорожках под деревьями становятся скользкими, а невидимый морозящий дождь едва заметно рябит лужи на асфальте, растворится в воздухе, угрожая превратиться в туман. Борис Дмитриевич, еще молодой, но уже с проседью, с болезненным лицом человек, возвратился с кладбища озябший и расстроенный видом голых могил, ржавых оград, пожухлой травы на обочинах кладбищенских дорожек. Особенно неприятно было ощущение мокрых листьев под ногами — подошвы скользили, он терял равновесие и уверенность и спешил поскорее выбраться с кладбища, и ему совестно было, что он спешил.

Дарья Филипповна, пожилая соседка, видела, как, стараясь не шуметь, он повесил в прихожей пальто и мягкую шляпу, снял старенькие пропускавшие влагу туфли и отыскивал наощупь тапки, стоя на холодном полу в сырых носках. Дарья Филипповна юркнула в комнату, взглянула на блеклый экран без звука показывавшего телевизора, поправила подушку на узкой девичьей кровати, а когда в коридоре погас свет, выглянула в неприкрытую дверь, вышла на кухню, поставила воду на газ, затем забрала его туфли, отнесла в ванную, вынула раскисшие стельки и положила на батарею.

— Хотите чаю? — вдруг громко спросила она.

Они пили чай в уютной комнате холостяка, где на полу, на диване, на стульях, на письменном столе в углу лежали стопками и просто вразброс детские книжки. Борис Дмитриевич работал в редакции детских передач на радио. Его передачи нравились, но он сам был уверен, что ничего не смыслит в детях и обычно подтрунивал над своей работой. Он легко отыскивал веселые слова. Но сегодня ему не хотелось шутить. Горячий чай подей-

вовал: он согрелся и уютно замер в кресле, за столом перед дымящейся чашкой. И внутри, в душной тесноте под сердцем успокоилась вялая боль. Все замерло в душе, куда никто не заглядывал, может быть, потому, что он сам никого туда не впускал. Грусть свернулась уютно, клубком. И если бы его ни о чем не расспрашивали, было бы совсем хорошо.

— Она говорила: ты, Боб, и славный, но несерьезный человек. Почему так, я не знаю, — отвечал он виновато соседке.

— Вы вправду несерьезный человек, Борис. Кто отец Анечки? — спросила Дарья Филипповна.

Борис Дмитриевич осторожно оглянулся на портьеру, разделявшую надвое просторную комнату. Там, за занавеской, спала девочка. Дарья Филипповна и Борис Дмитриевич разговаривали вполголоса, чтобы нечаянно не разбудить ее. И он сказал еще тише, спиной ощущая присутствие третьего:

— Она ведь не знала, от кого ребенок. Может быть, я отец.

— Послушайте доброго совета: вам надо устраивать жизнь, Кому вы нужны такой — несерьезный, да еще с чужим ребенком.

— Странно вы рассуждаете. Чужой или свой?.. Ведь ребенок.

— Год прошел, а вы так ничего и не решили. И каждое Божье воскресенье ходите на кладбище.

— Да где там каждое! Я бы ходил, да не получается.

Дарья Филипповна пододвинула к нему вазочку с вареньем.

— Вы очень любили ее? — спросила она, задерживая дыхание, отчего в комнате сделалось совсем тихо.

— Не знаю. Не знаю, Даша... И зачем говорить об этом сейчас, я ведь и проститься не успел, где живут они даже не знал. И девочку до того не видел.

И он сам притих от ощущения, оставленного в памяти тем ожиданием, когда много лет у него не было ничего, ни письма, ни слова, ни известия, ни дыхания ее в телефонной трубке. Мно-

гие годы совсем ничего. Поэтому он ревниво берег память ощущений, редкий дар человека, способного понимать и уважать оттенки чувств.

— Девочка похожа на нее, — сказал он. — И больше ни на кого.

В комнате послышался шум, будто упало что-то легкое, шлепанье босых ног, шевельнулась тяжелая портьера. Девочка лет семи, босая, в простой белой рубашке до пят, испуганно вытирала ладонью глаза. Заплетенная на ночь косичка распалась, и темные волосы свалились на плечи, обрамляя бледное, заплаканное лицо.

— Мама. Упала... — произнесла она. — С четвертого этажа.

Борис Дмитриевич опустился на корточки:

— Анечка, успокойся. Это был сон. Мы с тобой тут, посмотри. Ничего не случилось.

— А мама?

Девочка плакала. Борис Дмитриевич развел руками и замолчал. Наконец, она выплакалась и пришла в себя. Улыбнулась. Она засмеялась, глядя на его расстроенное поглупевшее лицо.

— Ты смешной, Боб. Совсем не научился меня успокаивать.

А еще обещал, — сказала она.

— Научусь, — пообещал Борис Дмитриевич, он все еще сидел на корточках.

Дарья Филипповна повела девочку в спальню.

— Надо спать, Анюшка. Позднее время. Видишь, темень на дворе.

”Она, как и ее мать, не принимает меня всерьез”, — пробормотал он.

Когда Дарья Филипповна, пошептав за портьерой, вернулась, он сидел за столом ипил остывший чай.

— Что же будет с нами со всеми? — спросила она.

— Ребенку нужно тепло, дом.

Дарья Филипповна махнула рукой. Они посидели еще немного. Каждый думал о своем и о девочке.

— Поздно уже, — сказала соседка.

Она хотела было убрать со стола, но опять махнула рукой, завтра уберу. Она ушла. Она тоже не принимала его всерьез.

ПОЭЗИЯ

Юрий Кублановский

СОГЛАСНО ГЕРАЛЬДИКЕ



ДВЕ ОТКРЫТКИ

*Если дата слилась с грязнотцой,
закорючки причуда
призывает: "родной!",
значит точно о т т у д а,
где скрипящая тишь
под игольчатым глянцем,
ты по новой блазнишь
приходить самозванцем.*

*Буду ль впредь под чужим
листопадом, ссытаемым в тропы,
ожидать, недвижим,
как покатаются камни Европы,
или каждую пядь
отдавая сначала без толку,
попытаюсь опять
наступить на Москву-хлебосолку?*

*..Я открытку найду:
окаймившую сумеречь лога
золотую грядку,
саламандру и единорога.
Чтобы цензор ослеп,
впопыхах обжигались почтарки,
между гибельных скреп
пропуская т а к и е подарки.*

23.11.83

ХИМЕРА

*Морщинит фаланги ветвей
ноябрьская непогодь-мга.
Среди истонченных камней
приметная издалека,
как будто победа за ней,
химера щетинит бока.*

*И впрямь: хоть не выела моль
еще моего барахла
в России, где крупная соль
на нашу дорогу легла,*

*— но вот уже год на чужом
могу ль говорить языке,
когда, словно ткань под ножом,
родной от меня вдалеке?*

*Поднимется в Стиксе вода,
которую не отчерпать,
и только, быть может, тогда
мы сможем друг друга узнать.*

*Каштаны посыпались на
с зелено-багряным огнем
жаровню, что ночью видна,
и кажется ржавою днем.
Так наша разлука бедна,
хоть жар ее ярк при том!*

29.11.83

СОГЛАСНО ГЕРАЛЬДИКЕ

Куда не обернусь,
– неизменно с крылом прободенным
примерещится гусь,
хоть охотник в доспехе стотонном
нынче пол изнутри:
дай щелчка – далеко отзовется,
отзовется в Твери
и сюда рикошетом вернется.

*

И кабанчик, клыкаст,
по бокам отливающий медью,
тоже деру задаст,
показавши хвосток междометью
– панславянскому "о!"
Вдалеке не пугайся, родная:
тут не слышит никто,
сколько гласных молчит, подступая.

*

Величав океан –
сразу видно, что многое знает,
раз его котлован
массы дымной воды не вмещает.
Утрамбован и тверд
белый берег, прямой без огиба.
От него в натюрморт
залетает кровавая рыба.

И повсюду – куда ни взгляни:
на резные ли стены с опаской,
на высокие окна-огни,
всюду те же – с оскаленной пастью
саламандры. И надо ж в гербе
завести их то порознь, то в паре,
чтоб дремали на камне-судьбе
и юлили у глаз при пожаре.

*

Что корона царя,
иглы дикообраза,
может стать зазря
поднялись до отказа.
Знать, хотели тетерь
припугнуть из резного сусека.
Но бессмысленный зверь
все равно не страшней человека.

*

Я готов умереть
прямо в каменнострельчатой вязи.
Но секирой медведь
замахнулся, маня восвосяи:
"Приходи – разоъем".
...Чтобы где-нибудь около Волги,
прорастая репьем,
исключить о себе кривотолки.

1983

ПЕЙЗАЖ СОРОКИ

Олифовая сетка трещин,
когда под ней
усадебный закат обещан,
еще родней.
Стремя варяжскую гондолу,
там отрок крепостной
отводит гладь назад к приколу
под сенью навесной.
А у другого – из осины
упругая уда,
чья леска пущена над тиной
неведомо куда.

И у меня такое было:
когда-то с кандачка
взахлест раскручивал грузило,
плевал на червячка.
Как селезень, на перепаде
сломавший крыльев ось,
я прыгал в лодку на закате,
раскинув руки врозь.
Далекий час, вместивший сплотку
т а к и х минут,
что каждая берет за глотку
и душил тут.

12.12.83

ПРОЗА

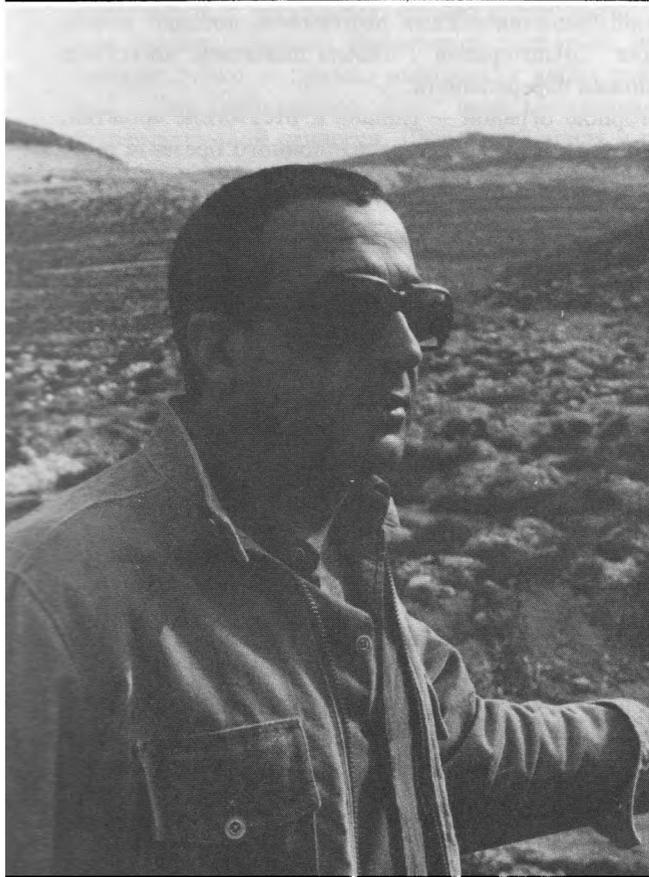
Юрий Милославский

Сведения,
исходящие от
Петрова

Отрывок из романа

СТАРЫЕ НЕМЦЫ ПОХОЖИ НА СТАРЫХ ЕВРЕЕВ.
(КАК И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ).

На пархачей-носачей с гундосою, булькающей речью, с небным фырчанием, – когда прилипают они к скамейкам, стульчикам и табуреткам, вынесенным на свежий воздух; разбираются с газетами – иронизируют бровями, уходят в плечи головеньками, недоумевая рекламе и сомневаясь в истинности сообщенного специальными корреспондентами; а подустав – обвисают на



своим пористом, сером, с болезненными шипами позвоночнике, стекают сами в себя, — ну неотлично же?!

Неотлично.

(И даже на всякого старого еврея походит старый немец, но на отборного: из научно-популярного фильма романтических лет, где изображалось, как врываются в пустую опрятную комнату крысы; осваиваются — и вот уже бодро шагают по накрытому к завтраку столу, суются заразными рыльцами в саксонские блюда со снедью, гадят на крахмальную скатерть, сошвыривают на пол вилки-ложки; на мгновение замирают, вибрируя ноздрями, — и убедаясь в полной своей безнаказанности — наглеют, и а г л е ю т, НАГЛЕЮТ на глазах... Наплыв — и превращаются в соответствующие ассоциативно рожи.

С той поры, как говорится, миновало. До того миновало, что и фильма с прежнею силой снять сегодня некому, не для кого, да и не о ком: всюду персонажи с прототипами, а зрителей и участников — ма.).

Возмездие. Горняя кара.

А чему ж иному быть? Не счастье же возмездием — строжайший запрет национал-социалистического рабочего движения сразу во всех его ярких деталях с манифестациями, символическими жестами и позами, гербами, круглыми и треугольными печатями на служебных бумагах? или горнею карой — обратное переименование некоторых улиц и площадей, — глупо.

И вообще — вся надежда на нашу молодежь.

Вся надежда на нашу молодежь?!

Естественное дело.

Однако и тут, — идешь, бывало, по Царьвильгельмулице или по Наследнопринцпроспекту — и лыбится на тебя современная юность, кажет зубарики цветом в третеводнешнюю вареную морковь: торчит во все стороны, так что не сомкнуть нежных девичьих губ неопределенной формы. И над н.-д. губами телепается носик в коноплюшках, угорьках и свищиках: а рядом с девушкой — нечто пучеглазое, чернявое, задроченное — в джинсятах "Мустанг", во свирепой кожаной куртке, но зато — с надписью миролюбивой на маечке: "Нет ядерному оружию на территории нашего местечка!"

И владеет встречными вяловатое полумолчание, неуверенность в суставах и сухих жилах; то здесь, то там слышится тихохонькое чумовое похотывание, от которого язык норovit вывалиться из пасти, облизаться широко и мокро; и все цветет вокруг: мясопродуктов, бакалеи, кондизделий — вагон и маленькая декоративная тележка, нагруженная напитком "Афри-кола", полны витрины хлыстов, цепей и женского белья из черной юхти на медных пряжках — при помощи такого оборудования любой инстинкт удовлетворить — проще, чем отца родного за хуй с печки стащить; есть и фигурные напальчники для качественного ковыряния в чем придется; итак?

Объясню.

Развернутая метафора —

словно долготерпеливый к жизни обитатель, не снеся более вопиющей несправедливости семейного бюджета, служебных унижений, расширяющейся плешивизны и прочего подобного, — наткнувшись на последний пустяк, — поддался бедняга своим филогенетическим особенностям — и р а с с в о б о д и л с я.

(Жену через мясорубку пропустил, чтоб не обижала, дочурку — вместо того, чтоб дожидаться ее совершеннолетия и замуж выдать за хорошего парня — прямо в колыбельке обесчестил, а сам — невымытый, небритый, веселый от наступившего совпадения желаемого и достигнутого, высадив одним пинком запертые на ночь двери, летит на улицу: адептов среди соседей вербовать.).

Но уж обкатали его участок вызванные завистниками и паникерами официальные фургоны: три полицейских и один санитарный — со знаком государственной службы душевного здо-

ровья; совместились у рассвобожденного на пижаме, под самым сердцем, лучи прожекторов; усталился в ту же точку — сквозь оптический, укрепленный на винтовке М16, прицел — снайпер в пуленепробиваемой жилетке нараспашку; и учетверенные рупора громкоговорителей повторяют: с т о й — г д е — с т о и ш ь — и л и — б у д е м — с т р е л я т ь — с т о й — г д е — с т о и ш ь — и л и — б у д е м — с т р е л я т ь — с т о й — г д е — с т о и ш ь — и л и — б у д е м — с т р е л я т ь — с т о й — г д е — с т о и ш ь —

Стою, стою.

Тогда-то и выныривают из фургона душевного здоровья два циклопических милосердных братца, а за ними — доктор-специалист.

Вкрадчивыми зигзагами, приныривающими перебежками, устремляются, достигают — и смыкаются на рассвобожденном (отныне — пациенте).

Рраз! руки ему за спину, одновременно — гуманную подножку: один — валит, другой — подстраховывает пациенту морду коленкой. Ддва! резиновый жгут на пациенту правую вывернутую руку: вену видать: видать. И, мазнув катышком проспиртованной ваты по грядущему моменту соприкосновения иглы многокубового шприца с эпидермой — проводит специалист инъекцию препарата: готов? готов.

Погрузили и увезли.

Что и говорить, серьезная болезнь требует серьезного же, по возможности радикального, лечения: интенсивный курс, что не исключает побочных явлений.

Не грозит теперь никому ни мясорубка, ни бесчестие, — потому что ходит пациент на полусогнутых с пришаркиванием, сто метров в час, а пуще всего любит стоять, где поставили, сидеть, где посадили, лежать, где его положено.

Безынициативен.

В сон клонит.

Но лучше всех в нашем санатории делает он бумажные кораблики и уютные домики из спичечных коробков. Охотно дарит их желающим.

Ах! А пожалуй, что и ух! Так когда-нибудь и мою Россию возьмут в торока-укрутки, запаяют в теремок без окон-без дверей; в локтевой гиб — инфузию, в шмоньку — катетер, диетическое питание — через рваные ноздри.

А по завершению курса выведут нас на прогулочный дворик, украшенный культурно-этническими растениями, посадят тамочки за столик для трудотерапии: станем палехские шкатулки на хохломские ложки переделывать.

А за санаторною оградой — тишина и отсутствие событий, лишь кое-где стоят палатки из антирадиационного брезента и написано на них кириллицей: "Макдональд"...

Скоро уже.

Еще малехо побулгачимся — и эндец.

Только не дожить бы.

А может — наоборот? Лучше — дожить? Может, — меня тогда помсанитара назначат, как неопасного хроника со стойкой ремиссией?! Побогuem!..

И вообще, — как говорят в таких случаях интеллигентные люди: "Если я из ложно понимаемого чистоплюйства откажусь от этой должности, ее непременно займет тот, у кого и вовсе нет никаких нравственных и моральных тормозов. Следовательно, я обязан!"

Конец развернутой метафоры.

Давно унесли в азиатские реки — и растаяли там — льдины со вмерзшими в них свежесывороченными потрохами безымянных героев, давно залечен калмыцкий оккупационный триппачок; где они теперь — результаты взаимозаменяемых случайностей, междержавных трений, идеалистической несдержанности

одних и циничного прагматизма других? Никого и ничего нету, — разве что на поленьях глаза как слеза.

На ваш выбор: кто старое помянет, тому глаз вон, а кто старое забудет — тому оба вон?

Итак, не лучше ли зажмуриться?

Возле неестественного озера, на травке Английского Парка, в виду колончатой беседки, в городе Мюнхен — стоит лавочка. А на ней сидит, — как и следовало ожидать, — старый немец, похожий на старого еврея; дремлет, пуская жижицу изо рта — и щурится с опасением на внука и внучку, которые здесь же не-вдалеке, запустив друг дружке ладоши в распяленные "молнии" штанов — тоже дремлют.

Тепло.

Алексей Николаевич Петров поставил свою "Черри" впритык к Музею Восточных Искусств, — в стороне от стеклянного подсвеченного изнутри входа, где торчала какая-то древняя тумба-балда, — и пошел пешком по вечерней Лархенфельдулице.

Дождь ниспадал прямой, неуклоняемый ветром. Пустоватые сентябрьские липы не вбирали лишнюю им влагу, а только приостанавливали ее, давая стечь и собраться в прикоренных круглых углублениях.

У первого же карниза Петров задержался: проверил темный свой плащ на ромбовидно выстроченной утепляющей подстежке, коснулся шляпы.

На пересечении Лархенфельд и Парадизулиц Алексей Николаевич, — большой, белявый (ближе к седине), с красноватым, чуть пупырчатым лицом, — вошел в кофейню "Граф Цеппелин".

Затускневшая алюминиевая фольга, что образовывала в сенях кофейни подпотолочный свод-арку, гофрою своею должна была напоминать о славе цеппелинов, но — не напоминала. В зале не сменялись на столах картонные подкружечники с эмблемой "Левенбрау" — покоробились, присохли. Разноцветные сладкие настойки, водки и медки в зеркальном открытом буфете — никем не заказывались; и если присмотреться, то у дна бутылок и флажков едва поколыхивался темноватый осадок, на что требуется минимум год неподвижного пребывания.

Алексей Николаевич, — в задумчивом разгоне шагнувший было в зал, — вернулся в сени, где на зыбком с лаковыми ногтями табурете установлен был телефон старого образца: горизонтальный, с латунными, словно сундучными, уголками. Вдвинув монету, Алексей Николаевич тщательно набрал номер. На третьем гудке — прижал рычажки, и вновь повторил цифровой ряд. (Эта простейшая игра, предусмотренная инструкциями четвертьвековой давности, Петрова не злила и не смешила, и если б кто спросил — зачем? — он уж нашелся бы, что ответить: чем, к примеру, ход проще и общеизвестней — тем и безопасней, автоматичней и проч.). Между вторым и третьим звонком полагалось двухминутное ожидание. Не отходя от табурета, — хотя посетителей не было, кто помешает? — Алексей Николаевич вынул из пиджачного кармана пачку-десятку голландских сигар на мундштучках. Заслышав тихий возглас зажигалки, поднял голову хозяин, — отвлекшись от необязательного дела за стойкой, безмолвно осведомился: пожалуйста?

— Добрый вечер, — опередил его Алексей Николаевич. — Я только созвониться.

И хозяин, кивнув на "добрый вечер", продолжал нечто подкручивать на выходе кофеварочного агрегата.

Две минуты прошли — на первом гудке. И тотчас ответили.

— Да, — американский, как бы приблатненный, заниженный выговор.

— Как дела? — Алексей Николаевич поддал дымком в трубку, пахнущую тысячью зубных паст.

— Жду, — в трубке прослушивалась музыка. — Ты далеко?

— Ну и жди. Я здесь, в "Цеппелине".

— Ага..., — вроде зевнули. — Так я жду.

Поговорили.

От кофейни "Граф Цеппелин" до конторы пути было на три минуты: давно высчитано. Дождь помельчел, но участился.

Промокшая до тампона малолетняя хиппариха едва не расшиблась о темного и широкого Алексея Николаевича, замельтешила на месте, сверкнула в упор ярко-рыжим несчастливым личиком на нежданно пред нею возникшее, отшатнулась...

Время истекло. Алексей Николаевич вдавил палец в прямоугольную выпуклость, заслонив мелкую готику фамилии. Интерком отдаленно — на втором этаже — гуднул, и замок ослаб.

Контора.

Сколько раз дежурил у конторы я, — никто в радиусе скольких-то там тысяч миль не помнил этих куплетов, — сколько раз дежурил у конторы я, — никто, за исключением Алексея Николаевича Петрова, — чтоб махнуть с порога ей рукой, — да и сам Алексей Николаевич не помнил; то просто зацепилась одна контора за другую, где в сорок восьмом (с точностью до пятидесятого) в свою очередь зацепились за гвоздь то ли пиджак, то ли брюки — новые, только что из индоошива, потому и запомнил, — чтоб взглянуть в глаза ее-го-го, которые — эх — навсегда смутили мой покой...

За дверью конторы.

За ее дверью настырно, с гулевою, залихватской надсадою пел современный голос: "Мы встретимся в полночь!!" На часах же Алексея Николаевича возникло семь часов двадцать пять минут средневропейского — и скрылось под рукавом.

Дважды кратко прозвонив, — пипка звонка укреплена была посредине дверного полотна, — Петров поворотил в замочной скважине загодя подготовленный ключ. И тронул ручку. Современная песня прервалась. Алексей Николаевич прошел по вяло натянутому сукну прихожей в гостиную. За его спиной — сомкнулось, и на всю контору вновь заобещало; "Мы встретимся в полночь!!"

Мебель гостиной, составленная из гибких ломтей в желтоватом репсе, — три одинарных кресла, одно двойное, диван, — окружала стол-ящик с прозрачной столешницей. Горчичные с черными кистями портьеры на окне были запахнуты наглухо. Три одинаковых салонных лампы на стойках в виде деревьев горели в трех углах. А в четвертом — сидел на каком-то восточном пуфике Ларри Нэлкин — вьетнамский пленник, числящийся за Ханоем, но вот уже полтора года как подселенный к конторе возле кофейни "Граф Цеппелин".

Обут Ларри в щегольские спортивные опорки с фирменными надписями на задниках и боковинках, со щегольскими замшевыми нашьепками, одет — в ложно-грубые штаны с накладными карманами и толстый нежный свитер на голое гладкое тело, — тело с рождения хорошо и полезно кормленного американского парня: в меру студента, в меру физкультурника, в меру — бабника.

Песня продолжалась.

— Где у тебя проигрыватель? — спросил Алексей Николаевич.

— В аппаратной, — ответил Ларри по-русски. — Здесь только усилители.

— Пойди, выключи, — Алексей Николаевич не исправлял ошибок, оговорок и подобного: не его дело. — Иди давай.

— Так не надо никуда ходить, — с губатой улыбкой. — Есть же дистанционное управление... Управливание?

— Управление, — неохотно назвал Петров. — Давай, выключай все к херам.

Ларри пожал плоскую электроштучку, валяющуюся рядом с ним на полу.

Алексей Николаевич отдыхал в двойном кресле, раскинув

плащ; тяжкие ноги его медленно пристраивались, то сталкиваясь коленями, то расходясь.

— Есть будешь, Джейкоб? — Ларри явно было лень вставать, извлекать, нарезать, перекладывать из пакетов в тарелки...

— Пить буду, — Алексей Николаевич вернулся к английскому, чтобы поменьше слов. — Коньяку я хочу.

Ларри с нарочитым пристаныванием поднялся, прошмякал своими опорками на кухню, принес бутылку и узкий стакан: бара в конторе не было.

— В холодильнике коньяк держишь? — Алексей Николаевич налил сам — до одной трети посудки, и грел теперь питье в руках. — Кто ж тебя учил так, а? — и по-русски, пообиднее, — мудозвон из Вашингтона. Анекдот знаешь? Сидит немец, американец и русский. Немец говорит: "Завоеюем всю Европу!" Американец ему: "И разделим пополам." А наш, русский, отвечает: "Поцелуйте меня в жопу, ни хуя я вам не дам!"

Ларри захохотал, повторяя главное для него в басне: русскую похабелю он знал твердо и потому она всегда его веселила.

.....
 "Что-то оно сегодня все как-то", — подумал Алексей Николаевич. — "Что-то оно сегодня..."

Дурацкая связка междусловиц — неизвестно даже на каком языке — бессмысленно парила между стеллажами секретного склада основных рабочих мыслей Петрова: мыслей равнообъемных, туго и плотно упакованных, таких брикетов, что расфасованы в черно поблескивающие, непроницаемые оболочки, — дабы не соприкоснуться друг с дружкой без нужды; да что оно такое сегодня? — позорный вопрос, без надежды на самый что ни на есть пренебрежительный ответ, слепо шарашился, тынялся, приставал, талдычил беспомощную чухню: что-то оно как-то все... Как?! Так!

Раз в три месяца полагалось посетить (навестить, заглянуть) — вне зависимости от любых текущих "дЕбитов-кРедитов" (этим дебитам-кредитам Алексей Николаевич научился от покойного Коробейникова); заглянуть, присесть, выдать нечто авторитетно-снижидательное ("чтоб дежурный не журился") опять от Коробейникова — вот ведь, почти не виделась, а сколько юмористического от него почерпнул... (итак, заглянуть, присесть, выдать, щелкнув, сбросить в пепельницу отслуживший свое ключ) цилиндр замка в дверях к о н т о р ы менялся каждую неделю: основная, практически, обязанность дежурного (считать и вобрать в краткосрочную память) с подsunутой дежурным бумажонки/ название отеля, пансиона, кабака или частного почтового заведения, где будет ему, Петрову, оставлена бандеролька с очередным новым ключом — и на этом завершить пятиминутку: уйти так, словно и не был он здесь никогда, никогда более не придет, — да и не он это только что здесь был, сюда заглядывал, сидел в двойном кресле, выдавал снижидательное, ключ в пепельницу сощелкивал, считывал название с бумажонки, — и уходил, завершив.

Уходить — уметь надо.

И тогда, — как бы под воздействием беззвучной пневматической помпы, — втянется в свою нишу секретный склад рабочих мыслей со всеми своими реестрами и перечнями; пятидесяти-трехлетний, сосредоточенный, отличного самочувствия и объективного здоровья, сверху донизу чисто, натурально и дорогостояще и по сезону одетый человек — Петров А.Н., координатор, отзывающийся на имя Джейкоб, но силою обстоятельств службы существующий в качестве владельца умеренной фирмы по продаже зубоветрачебного оборудования и материалов "Дентал-Депо" — господин Клаус Барт — Алексей Николаевич пройдет обратный — в три минуты — путь до кофейни "Граф Цеппелин", оттуда — еще один обратный — до своей "Черри", чей лак увлажняется возле Музея Восточных Искусств, не глядя, отомкнет ее, заберется — вроде под родимое одеяло — и поедет домой, в заречный квартал.

Там ждут его два бисквитных этажа — по четыре помещения в каждом, не считая служебно-подсобных, скрипичного оттенка кухня в розовом гарнире, где выпьет он из керамической кружки с адресом "Папина" горячего молока, сдобренного ложечкою меда (и мед, и молоко — непосредственно с фермы, природные, без самоналейшего признака радиоактивного стронция и канцерогенных химикалий, ибо и животные, и насекомые, что поставляют продукты, особо кормлены травкой, выращенной на слаборазвитом говне провинциальных жителей.

Члены семьи уже спят, и посуда их вверх доньшками стоит в сушилке. И Мария-Матерь Божья, — сувенирный, но красивый барельеф из серебряной жести, — босая, до Благовещения, в платьице, подпоясанном витой шерстинкой — по мере сил охраняет их сон.

Всегда так, и три месяца назад так, и сегодня — так. Так? В дверь к о н т о р ы позвонили — дважды, кратко, по инструкции.

Лампы в гостиной и во всей хате отозвались помаргиванием, повторяющим трепетание звона. Ларри воздвигся, извлек из-под кипки журналов, лежащих в столе, короткоствольный револьвер с насаженной муфтой глушителя.

— Охотник на слонов, — сказал Алексей Николаевич, поскольку более ничего не оставалось. — Герой пограничной заставы.

Ларри слушал, приобнажив выпуклые розоватые зубы.

— Открывай; бердань свою положи на место.

Ни "бердани", ни "положь" — Ларри понять не мог.

— Слушаюсь, тврщ полковник! — творилось и говорилось нечто неучтенное.

Ларри упрятал оружие под свитер и пощелкивая пальцами, не торопясь, вышел из гостиной. От момента звонков — до отпирания двери должно было пройти сорок секунд: так установил сам Алексей Николаевич лет пятнадцать назад, когда поставили его координатором.

.....
 В гостиную веселыми рывками проник, обогнав Ларри, несколько приплюснутый человек в маренговом с начесом пальто-реглане. Распахнулся — и показал крахмальные воротнички, почтенный галстук. Все это — не останавливаясь, приближаясь к Алексею Николаевичу, протягивая усеченную квадратом ладонь.

— Ну! — здравствуйте-здравствуйте, Николаич. Раз в сто лет видимся, без пол-литры, без закуси, как неродные. Не поговоришь. Вы газетку-то просматривали, Николаич? Наши канадцев опять заделали. Вчера — вру! — позавчера по радио мельком слышал, когда ехал. А сегодня газеты прибыли, так что... Ларри, где "Советский спорт"? или она у вас уже, Николаич?

— Да нет, Валерий Иванович, я и не глядел.

— А что ж вы так, Николаич, что ж вы так, голова-два-уха? А? Ларри, совсем тут у вас застарел наш Лексей, газет не читает, спортом не интересуется... Только журнал "Здоровье", ась? Готов! Готов Николаич на "ты бы" перейти.

— Как вы говорите?

— Говорю? — изумился пришедший; и в самом деле — он ничего не говорил.

— На "ты бы" перейти?..

— А-а. Это вроде анекдота: вышел товарищ на заслуженную, а ему жена все время плешь грызет: "Ты бы сходил за хлебом, ты бы прибрал, ты бы..." Вот и говорят про пенсионеров — на "ты бы" перешел мужик.

И Валерий Иванович присел рядом с Петровым, чуть не касаясь, наставил на него улыбку. Ларри принес из комнаты, называемой им "аппаратная" спрошенный гостем "Советский спорт". — и Валерий Иванович мелко заискал, зашуршал, приговаривая: "Ну-ка, ну-ка". Нашел.

— Во-от. Так! Славно поработали наши ребята на ледяном поле... При всей их слаженности и несомненной воле к победе, соперники не смогли противопоставить... Ага! Не за горами и новые встречи... Да. Ну — мы им и там всунем. Пару банок. Не будете, Николаич? Ларри, возьми.

Газету прибрали.

— Завидую я вам, Николаич, — вздохнул Валерий Иванович.

— Нехорошее чувство.

— Ай, нет! — хорошее, Николаич, хорошее чувство. Спортивной такой завистью: скоро вы на нормальный стадион пойдете, без реклам этих всранных, без...

— Когда?

— ...без реклам этих всранных, — перебивать Валерия Ивановича не следовало: он ничего не говорил, — без бутылок этих, без картонок. Эх, не посмотрели в таблицу? — когда там что намечается... Во-от. Вы пойдете, Николаич, а мы, техсотрудники, вам отсюда позавидуем. Вот.

Ларри вернулся было к своему пуфику.

— Молодежь, — окликнул его Валерий Иванович, — ты чего там нахохлился? Иди к нам, пододвигайся, — и юмористическим жестом указал, где: рядом с Петровым, едва позади.

— Я вчера с Овчаровым виделся, — продолжал развивать свое Валерий Иванович. — Говорю, Николаич наш переходит на преподавательскую. Опыт у вас сумасшедший, конечно, дьявольский опыт... Уникальный, Николаич. Да, так я ему говорю: Николаич наш переходит на преподавательскую. Он аж подпрыгнул: как так?! И отвальную не выпьем? Ну, говорит, нич-чего, мы с Николаича не слезем: сегодня даю знать жене, чтоб она ему на месте семейную жизнь организовала с космической скоростью, говорит. У нее там есть одна подруга!.. Ценный человек: визнеш в руки — маешь вещь! Синеглазая, рост — метр-семьдесят! Точно для Алексей-Николаича человек, говорит. Тридцать пять годочков, преподает в МИМО... Я ему сходу: ты, Овчаров, главного не осветил — как она, эта твоя мимо-за, с домашними обязанностями — того? Или сего?

Алексей Николаевич приподнялся в кресле — и одновременно с ним Ларри, так что Петров наткнулся на вытянутую руку вьетнамского пленника.

— Что, Николаич, заторопились? — брызнул гость. — На смотрины, на смотрины заторопился... Да. Так Овчаров мне и выдает семейную тайну: она, говорит, так готовит, что раз — раз — мы с женой к ней на обед пришли, а больше — супруга сказала — все. Ты после аппетит теряешь, дома не жрешь. Но для Николаича!.. Я ему тогда: ты мне, Овчаров, не морочь эти вот, — Валерий Иванович тыкнул большим пальцем вниз, в направлении ширинки, — ты, говорю, надеешься, что Вер-Василь'на твоя тогда тебя к подруге на обед обратно поведет? Так ты прав, бродяга! Не будет у твоей жены причин для беспокойства, — разве что Николаич тебе глаза твои хитрые на эту самую натянет.

— Яблочный сок есть, Ларри? — Алексей Николаевич всем грузом торса сместил пленника с места, и тот, чтобы не упасть, переступил несколько: снова они поднялись одновременно.

— А ну, давайте я принесу, — вызвался Валерий Иванович. — Вы себе отдохайте, Николаич, набирайтесь сил, вам ехать через полчаса. Ларри, а ты чего встал? Сиди! Я пойду — порубать чего-нибудь найду, сок вот Николаичу.

— Ешьте, — вернулся в кресла Алексей Николаевич. — Я попозже.

— Когда попозже, Николаич? Моими байками сыт не будешь. Вам до настоящего обеда...

Они ели плотную малосоленную ветчину, мазали на хлебцы камамбер из соломенного лукошка размером с кухонный казанок. Сока не нашлось. Пиво в бутылочках, похожих на российские аптечные, Ларри хранил в самой прохладной зоне холодильника — и Валерий Иванович деловито перелил его в огнеупор-

ную плоску, подогрел на газе, смешал с холодным.

Ежеминутно гость указывал на коньяк, произносил: "На дорожку?", но рюмок не требовал.

Только когда миновали упомянутые им полчаса, Валерий Иванович — опять-таки, сам, — принес из кухни недостающую посуду, накапал условно.

— Ну — до свиданья, Николаич. Полагается сказать, что, мол, не забывайте, но. Забывайте; хусым, как китайцы говорят, забывайте себе на здоровье. И поздравляю, поздравляю с полковником, Николаич, сразу забыл главное-то. Страна у нас теперь красивая... Дорогой вы наш Николаич!..

И, видимо, устав или раздражаясь вконец кликушеской почти напряженностью своей работы, которая незаметно и его самого загоняла в истерику — забастовал: распустил лицо, шейные тяжи, плечи, даже ссутулился и дал волю животу.

Алексей Николаевич так и не успел снять плаща, а теперь предстояло — переодеться полностью.

Вынули из карманов: длинный коричневый бумажник, зажигалка, курево, разноразмерные бумаги, монеты, талоны на автомобильную стоянку, сплотка ключей. Все отменялось.

Валерий Иванович (Ларри покамест больше не двигался) принес из аппаратной коробку со штиблетами, целлофановый мешок с костюмом, пакет с рубашкой, белье. Алексей Николаевич принялся раздеваться. Ларри отъехал с креслами в сторону, чтобы не мешать. Но Алексей Николаевич успел все-таки захватить

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ИСКУССТВА В ИЗГНАНИИ

5 февраля — 12 апреля



Анатолий Зверев

Николай Вещюмов
Сергей Голлербах
Юрий Жарких
Вячеслав Калинин
Отари Кандауров
Иосиф Киблицкин
Дмитрий Красновцев
Эрнст Неизвестный
Леонид Пинчевский
Оскар Рабин
Алек Рапопорт
Борис Рахамимов
Борис Сешников
Олег Целков
Владимир Чернышев
Владимир Явлевский

РУССКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
И СЮРРЕАЛИЗМ СЕГОДНЯ

C.A.S.E. 80 Grand Street JERSEY CITY, NEW JERSEY, U.S.A.

ему рукавами снятой сорочки с довольно крупными запонками — по губам. Извинился.

— Пустяки, Джейкоб.

— Здоровый вы дядя, Николаич, — поглядел на Петрова гость.

— Для тридцатилетней все равно не гожусь.

— Не скромничайте, не скромничайте, — Валерий Иванович отстранился от пролетающих мимо его лица носков уезжающего. — Знаем-знаем мы ваши возможности! На вас еще пацанки-старшеклассницы заглядываются... Марлон Брандо вы, Николаич! — и отключился.

Петров переоделся во все принесенное, подвигал туловищем.

— Ларри, — сказал Валерий Иванович и пленник приблизился.

— Проводи Джейкоба в спальню, к зеркалу. Вы, Николаич, извините, — вы сами с усами, п о р я д о к п е р е с м е н к и лучше моего знаете.

Аккуратные рабочие лица коллег, увенчанные однообразными прическами — либо косой пробор, либо гладенько назад;

Аккуратные рабочие лица коллег, увенчанные однообразными прическами — либо косой пробор, либо гладенько назад; на затылках, скорее всего, убрано постепенно, без полоски; темные, — хоть даже у кого если и голубые, — глаза без особо четкой границы меж райком и чуть палевым белком; кто выше, кто ниже, кто совсем керя — вроде полковника Сиволгина, или напро-

тив, дылда: подполковник Анненков из Гонконга; на каждый крупный город по одному, по два; в полных пиджачных костюмах, много и жестко курящие, судя по корковатым с запеклостью ртам; сослуживцы-координаторы, люди той же должности, тех же основных обязанностей, — они виделись Алексею Николаевичу поочередно приходящими к боковому стеклу глубокого бронзового "оппеля", на котором его везли — по направлению к невесте из МИМО и преподавательской работе.

Проникали-то, конечно, не они лично, а их высококачественные стереофотографии, где по нижней кромке шли белые цифры и буквы: ФИО, псевдоним, рост, приметы, п/я, телефон, час, день, месяц рутинного контакта по местному времени.

Надо думать, что рассредоточенные по отдаленным друг от друга пунктам, они частично изменились по сравнению со снимками: скажем, подполковник Малявин и Герасименко — первый из Куала-Лумпур, второй — из Дждды, — хоть пиджаки посбрасывали из-за погоды, но — хусым! — как выразился ф а к и н г э й* Валерий Иванович, — Петров их никогда непосредственно не встречал, только стереофотографически, — и тем не менее, они принимали, а он — прощался: поджимал нижнюю губу, подмигивал, слегка закидывал голову: будь, мол, мужик, ништенко, пер'зимуюемм; Алексей Николаевич, как человек здоровенный и в основе своей — армейский, был не без легкого сентимента.

* англ.; соответствует русскому "пидар".

ПОЭЗИЯ

ПРОРОЧЕСТВО

*Как будто мало настрадалась
Россия бедная и так,
нам предрекает Нострадамус
период ядерных атак.*

*Засвищут, распадаясь, ядра,
предсмертно птицы закружат,
и, улыбаясь плотноядно,
эскадра окружит Кронштадт.*

*Се препоясаны мечами
идут русские мещане.
Остаться дома им бы,
но гляди, как дивно
светятся над ними нимбы
радиоактивно.*

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

*Чего там — каркай не каркай,
проворонили вы ее.
Над раздавленной товаркой
разгуливает воронье.
Красная лужица сохнет ярко.
И меткая ветка горда, уроня
источенное червями яблоко
на задроченного врачами меня.*

НОВЫЕ СТИХИ

ВПЛОТЬ ДО АДА

*Клирос, иконостас, пылесос
красный, т. наз. "Страшный суд".
Еще, так сказать, большой вопрос,
кого в утробу эту всосут.*

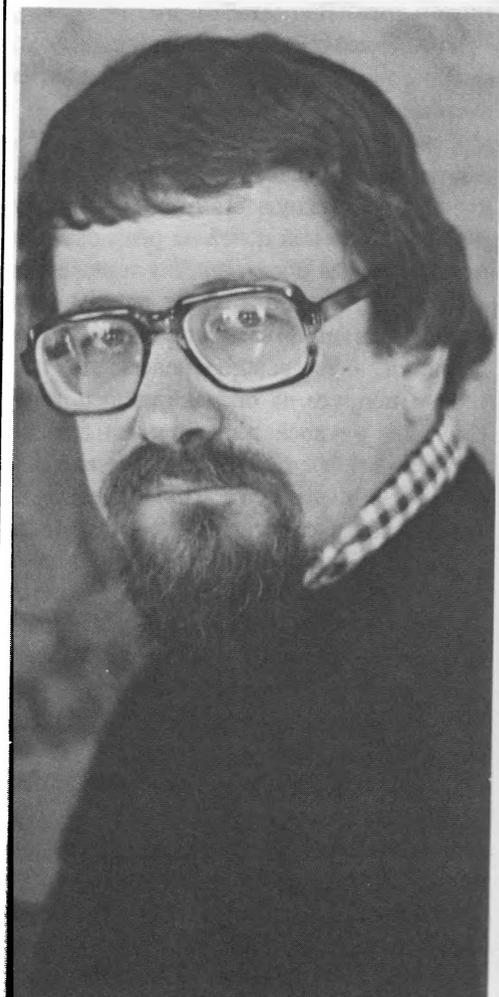
*.....
Тем, кто только сумел провиниться,
т.е. пропитаться насквозь вином,
тем Ведьмедь,*

Губернатор Полярной Провинции,
расскажет сказку с плохим концом.
Тем, кто грехом своим сам терзается,
как то вожделенец, болтун, педераст,
тем в наказанье письмо затеряется,
приезжий привета не передаст.
Журналистам, редакторам (до зав. отдела)
и тем, кто халтурил путем иным,
сто лет в наказанье за это дело
учить наизусть Вознесенского, им
фальшиво Шопена слабают лабухи.*

*Но тянет смолой и серой всерьез
от вечных котлов для тех, кто в Елабуге
деньжат не подбросил, еды не принес.*

* Губернатор — "зимовщик"

Лев Лосев



КАРТИНКА

*В каком-то музейном зале, помню –
занавеску отдернуть и снова завесить –
"Федра, охваченная любовью".*

*Федра, охваченная любовью;
вокруг народу человек десять:
пара кормилиц, пара поэтов,
полдюжины шарлатанов различной масти,
специалистов по даванию советов
по преодолению преступной страсти.*

*Ах, художник, скажи на милость,
зачем их столько сюда набилось?
В твоей гравюлке, художник, тесно,
здесь пахнет потом, а не искусством.*

*А просто всем поглядеть интересно
на Федру, охваченную столь странным чувством.*

СЛЕГКА ЗАПЛЕТАЯСЬ

*Льется дождь как из ведра.
Бог, рожденный из бедра,
победил меня сегодня
прямо с самого утра.*

*Не послать ли нам гонца?
Не заклать ли нам тельца?
То есть часть тельца (заклаем?) –
нам всего не съест тельца.*

*Раздается странный стук.
Это я кладу в сундук –
то есть я кладу в кастрюлю
кость телячью, плоть и тук.**

*Мой телец кипит, кипит.
Хочется с копыт, с копыт.
Но у нас еще графинчик
абсолютно не допит.*

*Эй, подать его сюда!
В нем награда за труды:
на две пятых – бог забвенья
на три пятых – бог воды.***

ПРИМЕЧАНИЯ

* Вырываю два листочка из лаврового венца

** Смысл стихотворения: в дождливый день
автор пьет водку и варит телятину.

P.S. "Бог, рожденный из бедра" – Бахус.

P.P.S. Последние две строки – перифрастическое
описание сорокаградусной водки.

ПЛАСТИНКА

*Не умея играть на щипковых
инструментах и ни на каких,
я купил за двенадцать целковых
хор кудрявых, чернявых, лихих,
все в рубашечках эх-да шелковых,
эх-да красных, эх-да голубых.*

*Старый цыган со всею конторой,
с одного разгоняясь витка,
спел нам песню свою, из которой
мы узнали, что жизнь коротка,
но зато – промелькнула за шторой
слишком белая чья-то рука.*

*Вместо "слишком" там пелось "и-эх-да"
и хрипелось за словом "зато"
непонятно что – "нечто" иль "некто",
слишком низко уж было взято,
и ни вкуса, ни интеллекта
не отметил бы в песне никто.*

.....
*"Коротка, коротка..." Напрягая
слух и память и то не вполне
разбирая слова... "Дорогая,
то, что мы увидели в окне..."
Впрочем, это уж песня другая
и она на другой стороне.*

МОЯ КНИГА

*Ни Риму, ни миру, ни веку,
ни в полный внимания зал –
в Летейскую библиотеку,
как злобно Набоков сказал.*

*В студеную зимнюю пору
("Однажды" – за гранью строки)
гляжу поднимается в гору
(спускается к берегу реки)*

*усталая жизни телега,
наполненный хворостью воз.
Летейская библиотека,
готовься к приему всерьез.*

*Я долго надсаживал глотку
и вот мне награда за труд:
не бросят в Харонову лодку,
на книжную полку воткнут.*

Юрий Мамлеев
ИЗ
РАННИХ
РАССКАЗОВ



СЧАСТЬЕ

ДЕРЕВУШКА БЛЮДНЕВО ЗАТЕРЯЛАСЬ НА ОКРАИНЕ ПОДМОСКОВЬЯ МЕЖДУ ЗАПУТАННЫМИ ШОССЕ, ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ И ЗАВОДСКИМИ ГОРОДИШКАМИ. НАРОДЕЦ ЗДЕСЬ ЖИВЕТ БОГАТО, ПО-серьезному: в каждом доме — пропасть еды, подушки, чарки и телевизор. Некоторые покупают даже толстые книги. Жизнь идет спокойная, размеренная, как мысли восточных деспотов. Иногда только для увеселения молодежи колотит кого попало или увлекается мотоциклами.

Все земные блага сошли на Блюднево, потому что обитателям, учитывая местную древнюю традицию, разрешено заниматься художественным промыслом: делать и продавать замысловатых

деревянных бабок, лошадей, волков. Кроме того, есть возможность поворовывать.

Жизнь здесь настолько сытна и успокоенна, что некоторые жители даже спят после обеда. Часа в два-три дня деревенька до того притихает, как будто весь народец уходит на время передохнуть на тот свет. Порой, правда, по улице прошмыгнет какой-нибудь козлик или ретивый мальчишка, играющий сам с собой.

Лишь у ветхого одинокого ларечка, где продаются конфеты, водка и сапоги, за низеньким, досчатым столиком, рядом с Божьей травкой, сидят за пивом непонятного приготовления двое дружков: один по прозвищу Михайло — толстый, здоровый мужик, необычайно любящий танцевать, особенно с малыми детьми; другой: Гриша — лохматый мужчина, с очень отвислой, мамонтовой челюстью и маленькими печально-вопросительными глазками.

После очередного запоя они лечатся пивом, и выражение их лиц трезвое, смиренное.

— Что есть счастье? — вдруг громко спрашивает Гриша.

Михайло смотрит на него, и вся физиономия его расплывается, как от сна. Всего полчаса назад он, отобрав четырех малышей шестилетнего возраста, лихо отплясывал с ними в хороводе, пока не упал, чуть не раздавив одного из них.

Не получив ответа, Гриша жадно мокает свою кудрявую голову в пиво, потом нагибается к Михайле, хлопает его по колену и хрипло говорит:

— Слышь, браток... Почему ты счастлив... Скажи... Корову подарю...

Михайло важно снимает огромную Гришину ручищу с колен и отвечает: "Ты меня не трожь".

Гриша вздыхает.

— Ведь все вроде у меня есть, что у тебя... Корова, четыре бабы, хата с крышей, пчелы... Подумаю так: чево мне яще желать? Ничевошеньки. А автомобиля: ЗИЛ там или грузовик мне и задаром ненужно: тише едешь, дальше будешь... Все у меня есть, — заключает Гриша.

Михайло молчит, утонув в пиве.

— Только мелочное все это, что у меня есть, — продолжает Гриша. — Не по размерам, а просто так, по душе... Мелочное, потому что мысли у меня есть. Оттого и страшно.

— Иди ты, — отвечает Михайло.

— Тоскливо мне чего-то жить, Мишук, — бормочет Гриша, опустив свою квадратную челюсть на стол.

— А чево?

— Да так... Тяжело все... Люди везде, комары... Опять же ночи... Облака... Очень скушно мне вставать по утрам... Руки... Сердце...

— Плохое это, — мычит Михайло.

Напившись пива, он становится разговорчивей, но так и не поднимая полностью завесы над своей великой тайной — тайной счастья. Лишь жирное, прыщеватое лицо его сияет, как масляное солнышко.

— К бабе, к примеру, подход нужен, — поучает он, накрошив хлеба в рот. — Ты вот всех подряд дерешь... А баба, она не корова, хоть и пузо у нее мягкое... Ее с замыслом выбирать нужно... К примеру, у меня есть девки на все случаи: одна, с которой я сплю

завсегда после грозы, другая лунная (при луне значит), с третьей — я только после баньки... Вот так.

Михайло совсем растаял от счастья и опять утонул в пиве.

— А меня все это не шевелит, — рассуждает Гриша. — Я и сам все это знаю.

— Счастье — это довольство... И чтоб никаких мыслей, — наконец проговаривается Михайло.

Вот мыслей-то я и боюсь, — обрадовался Гриша. — Завсегда они у меня скачут. Удержу нет. И откуда только они появляются. Намедни совсем веселый был. Хотя и дочка кипятком обварилась. Шел себе просто по дороге, свистел. И увидел елочку, махонькую такую, облеванную... И так чего-то пужливо мне стало, пужливо... Или вот, когда просто мысль появляется... Все ничего, ничего, пусто и вдруг — бац! — мысль... Боязно очень. Особенно о себе боюсь думать.

— Ишь ты... О себе — оно иной раз бывает самое приятное думать, — скалится Михайло, поглаживая себя по животу.

В деревушке, как в лесу, не слышно ни единого непристойного звука. Все спит. Лишь вдали, поводя бедрами, выходит посмотреть на тучки — упитанная дева, Тamarочка.

— В секту пойду, бросив волосы на нос, произносит Гриша.

Михайло возмущается.

— Не по-научному так, — увещевает он. — Не по-научному. Ты в Москву поезжай. Или за границу. Там, говорят, профессора мозги кастрируют.

— Ух ты, — цепенеет Гриша.

— Ножами, — важничает Михайло. — В городах таких, как ты, много. У которых — мысли. Так им, по их прошению, почти все мозги вырезают. Профессора. Так, говорят, люди к этим профессорам валом валят. Очереди. Давка. Мордобой. Ты на всякий случай свинины прихвати. Для взятки.

— Ишь, до чего дошло, — мечтательно умиляется Гриша. — Прогресс.

— То-то. Это тебе не секта, — строго повторяет Михайло.

Гриша задумывается. Его глазки совсем растапливаются от печали, и он вдруг начинает по-слоновьи подсюсюкивать что-то полублатное, полудетское.

Все-таки нехорошо так, по-научному. Ножами, — говорит он. — Лучше в секту пойду. Благообразнее как-то. По-духовному. Михайло махает рукой и отворачивается от него.

Мистик

Этот дворик расположен на окраине Москвы, на узенькой, деревянно-зеленой улочке, которая сама кажется маленьким, отрешенным городком. Изредка по ней пронесется Бог весть откуда и куда пыльный, громыхающий грузовик. На дворике, под серым, изрезанным ножами кленом, приютился тихий, уютно-грязенький уголок с деревянным, покосившимся столом и скамейками.

Летним вечером, когда с нависающих крыш и чердаков двухэтажных дворовых домиков сыпется пение и визг котов, в уголок тихо и достойно себе направляется Паша, здоровый, 40-летний мужчина с отвислым, как губы, животом.

Здесь, собрав народ, он, не торопясь, обстоятельно начинает свой длинный, смачный рассказ о загробной жизни, о том, как он побывал на том свете.

Слушать его приходят издалека, даже с соседских улиц. Некоторые приносят с собой миски с едой, платки, располагаясь прямо на траве. Одна грудастая женщина приходит сюда с годовалым ребенком на руках и, несмотря на то, что он вечно спит, всегда поворачивает его лицом к рассказчику.

Рассказывает Паша обычно полуголый, в одной майке и штанах, так что видна его волосатая, щетинистая грудь; из кармана вечно торчит сухая вобла. Его ближайшие поклонники: два-три

инвалида, сухонькая старушка в пионерском галстуке и угрюмый наблюдательный рабочий, цепочкой сидят около него, оттеснив остальных. Какой-то очень рациональный старичок в очках что-то записывает в кучки лохматых, комковидных бумаг.

И только перед самым началом из окна ближайшего дома появляется томная, худенькая фигурка Лидочки — местной, дворовой проститутки и самой первой почитательницы Пашиных загробных рассказов. У нее странное, забрызганное не то грязью, не то мочой, платье, томительные, точно ищущие Божество в небе глаза и пыльный, детский, из придорожных усталых ромашек веночек на голове.

Паша оборачивает к ней свою грузную, отяжелевшую от дум голову и губами манит ее. Во весь плеск своих 19 лет Лидочка бежит к Паше.

Местные угрюмые, толстые, как лепешки, женщины уже привыкли к ней и, несмотря на то, что она гуляет с их мужьями, задушевно и глубоко любят ее. Любят потому, что мужья будут все равно изменять им или даже спать с собственной тенью, как длинный лопухий мужик со второго этажа, а если бы не Лидочка и ее романы, женщинам не о чем было бы говорить длинными, пятнистыми вечерами. Ведь кроме загробных рассказов Паши, единственной отдушиной местных баб были их долгие, крикливые разговоры о похождениях Лидочки; эти разговоры чаще начинала та женщина, чей муж в данное время гулял с Лидочкой, и она обстоятельно, подробно, с увлечением рассказывала, сколько денег пропил ее муж с Лидкой, сколько кастрюль ей подарил, сколько гвоздей.

Это было очень интересно, поэтому женщины принимали Лидочку.

Лидочка пробиралась между скамеек и ложилась обычно на землю, у ног Паши, лицом к небу.

После проституции ее любимым занятием было глядеть на далекие облачка в небесах... Тогда Паша, откашлянув, начинал говорить, сначала, от стеснительности, себе в руку, а потом все громче и громче:

— Дело это было в аккурат под пятницу... По ошибке я попал на тот свет... Потом ошибку признали, и я вынырнул обратно.

В этот момент Паша осторожно вынимал из штанов вяленую воблу и начинал ее понемножечку обнюхивать.

— Интереснейшая, я вам скажу, эта страна, загробный мир, — продолжал он. — Все там не так, как у нас. Сначала я было перепугался; как дите неразумное пищал, не зная, что делать... Плохо там, что со всех сторон, куда ни пойдешь, яма... Большая такая, как Млечный путь... С которого бока ни зайди, все по краю ходишь... Но потом ничего, по привычке... Насчет баб там, девоньки, ни-ни... Потому что нечем... Все там вроде как бы воздушные. Но любить можно кого хочешь... Потому что любят там за разговорами... Если кто друг в дружку влюблен, то просто сидят и целными временами разговаривают между собой всякую всячину... Вот и вся любовь... И некоторые говорят, что лучше, чем у нас...

В этом месте обычно окружающие Пашу бабоньки, старушки охают и начинают причитать.

— Ужаси, — все время повторяет сухонькая старушка в пионерском галстуке.

— Ежели кто очень уж сильно втрескается, — оживает Паша, — то на это пузырь есть... Из глаз любящих он отпочковывается и поглощает их в единый колобок. Но там они все равно в отдалении... По духовному... Только от остальных пузырей огорожены...

Вдруг глаза Паши заливаются звериной тоской, и он начинает поспешно кусать воблу.

— Ты что, Паша? — робко спрашивают его.

— Друга я там потерял, — пусто ворчит он в ответ. — Только во сне иногда мне является... Дело было так. Захотел я первым шагом, как туда попал, папану с маманей разыскать. И деда. Но

куды там! Людей видимо-невидимо! И не поймешь, не то светло, не то темень! Луны, солнышка и звезд — ничего нет. Только яма везде увлекает. Ну, вестимо, загрустил я, даже повеситься захотелось, бредешь, бредешь, и все по людям и все мимо людей... А куда бредешь — не поймешь... Как среди рыб... Но тут подвернулся мне толстый, хороший мужчина. Ентим, вавилонянином оказался... А по профессии банщиком... Пять тысяч лет назад помер... Очень он мне чего-то обрадовался... Заскокал даже от радости... Отошли мы с ним куда-то вверх и завели разговоры. Рассказывал он мне, как помер; а помер он от цырюльника... Больно плох топор был для бритвы, вот от этого дела он и скончался...

На дворе становится тихо-тихо, как на собрании при объявлении крутых мер. И так продолжается час, полтора. Иногда только какая-нибудь старушка отгонит нахального мальчишку.

Наконец Паша кончает. Первой встает Лидочка. Ее глаза полны слез. Она поправляет веночек у себя на голове и берет Пашу за руку.

Единственный, кому Лида отдается бесплатно, — Паша. И слезинки на Лидочкиных глазах — это маленькие хрусталики, прокладывающие путь к сердцам Паши и высших существ.

Когда все успокаиваются, Лидочка берет гитару и, усевшись на стол, поет блатные песни.

Наконец начинает темнеть. Первыми уходят Паша с Лидочкой.

Они идут в обнимку — безного переваливающийся пузатый мужчина и худенькая, стройная девочка в обмоченном платье. Паша иногда чешет свой зад.

Старушки смотрят им вслед. Им кажется, что над Лидиным венком из усталых ромашек пылает тихое, затаенное сияние.

— Святая, — часто говорят они про нее.

Лидочка любит Пашу и его рассказы. Правда, однажды она обокрала его на пустяковый денежно, но дорогой для Паши предмет: старую нелепую чашку, оставшуюся ему от деда. Но Лидочке так хотелось купить себе новые туфли, а не хватало нескольких рублей...

... Все наблюдают, как они исчезают в темной дыре подвала, исчезают, прижавшись друг к другу — как листья одного и того же дерева... Потом расходятся остальные.

Висельник

Николай Савельич Ублюдов, впечатлительный, толстозадый мужчина с бегающе-замученным взглядом, решил повеситься. К этому решению он пришел после того, как жена отказала ему в четвертинке. Матерясь, расшвыривая тарелки и кастрюльки, он полез на стол, чтобы приделать петлю. Кончать в полном смысле этого слова он не хотел: цель была лишь припугнуть жену.

Закрепив веревку к своему воротнику, повернувшись лицом к двери и чуть запрятав ножки за самовар, он сделал видимость самоубийства, как бы повиснув над столом. Глазки свои Николай Савельич умиленно прикрыл; ручки сложил на животике и принялся мечтать. От жалости к себе он даже немножко помочился в штаны. Часто нервно вздрагивая и открывая глазки: а вдруг он на самом деле повесился?

Летний зной гудел в комнате; было очень жарко, и Николай Савельич иной раз приподнимал рубашку, дабы отереть пот с жирных боков. Ждать нужно было неопределенно: жена могла прийти из магазина вот-вот, могла и застрять часика на два-три. Николай Савельич, мысленно фыркая, иногда доставал из кармана брюк бутылку пивка, чтобы промочить горло. Под конец он немножко даже вздремнул.

Во время сна он особенно много обливался потом, и ему казалось, что это стекают с головы его мысли. И еще ему казалось, что у него, толстого и здорового мужчины, очень слабое и женственное сердце.

Очнулся Николай Савельич оттого, что ему взгрустнулось. Как раз в эту минуту, еле успел Николай Савельич замереть, в комнату всунулась физиономия соседа — Севрюгина.

Севрюгин был существо с очень грустным выражением чести и тупым взглядом. Первое, что пришло ему в голову, когда он увидел повешенного Ублюдова — надо красть. Он одним движением юркнул в комнату, прикрыл дверь и полез в шкаф. Вид же "мертвого" Ублюдова его не удивил. "Мало ли чего в жизни бывает", — подумал он.

Простыню и два пододеяльника Севрюгин запихал себе в штаны. "Не всякий знает, что у меня тощий зад", — уверенно промышчал он про себя. Работал Севрюгин деловито, уверенно, как рубят дрова; раскидывал скатерти, рубашки, пробираясь своими огромными, железными ручищами к чему-нибудь маленькому, ценному. Изредка он матерился, но матерился здраво, обрывисто, без лишних слов.

Николай Савельич струхнул. "Лучше смолчу, а то прибьет, — подумал он. — Ишь какая он горилла и небось по ножу в кармане". Все происходящее показалось ему кошмаром.

"Хотел повеситься, а вон-те куда зашло, — опасливо размышлял он, осторожно переминаясь с ноги на ногу. — Только бы по заду ножом не тянул и убирался бы поскорей, придурочный... Как хорошо все-таки, что я не повесился, — умилился Николай Савельич. — Ишь сердце екает... Хорошо... Сейчас бы четвертинку". В это время Севрюгин, набив себя барахлом, подошел к Ублюдову. "Небось, уже гниеть", — тупо подумал он, оскалив зубы. Ублюдов притих и боялся задрожать. Обычно грязно-тупые глаза Севрюгина искрились тяжелым веселием. Он осматривал Николая Савельича. "Ишь, пивко!" — вдруг гаркнул Севрюгин. И, не зная сомнений, схватил высывающуюся из кармана Ублюдова бутылку.

Но тут Николай Савельич не выдержал. Инстинктивно он лягнул ногой врага... Что тут поднялось! От страха, что он съездил по Севрюгину, Ублюдов дико завизжал и рванулся, чтоб спрятаться. Оборвалась ненадежная веревка. Севрюгин же ахнул и поднял руки вверх.

— Помилуй, Николай Савельич, не казни! — заорал он.

Ублюдов между тем упал на пол, желая улизнуть, полез сам не зная куда. "Только бы тело мое жирное не унес, — вертелось у него в голове. — А с простынями, черт с ними".

На гвалт сбежались соседи. От страха и от желания исчезнуть Севрюгин совсем обомлел.

— Швыряются! — кричал он, размахивая большими руками. — Пужают... Симулянт!.. По морде бьет... Вешается.

Ублюдов же, неуклюже застрявший где-то под стулом, хрипло кричал:

— Не матерись... Людоед... Хайло... Ножи-то куда запрятал?!

Очень маленькая, задумчивая старушонка вдруг понеслась бегом из комнаты. Через минуту она вернулась с чайником и, уютно усевшись на кровати, подпершись, стала пить чай вприкуску.

Особенно поразила всех нависшая с потолка веревка с оборванной рубахой. Какой-то физик высказал предположение, что это, дескать, массовая галлюцинация. Ему чуть не набили морду. Воспользовавшись криком, Севрюгин раскинул по комоду простыни. Обомлевший Ублюдов попросил у старушки чайку. Между тем вернулась жена Ублюдова.

— Засудят твоего мужика, засудят, — орала на него толстая соседка. — Будешь целый год без палки ходить... Ишь, шуму наделал!

— К психиватру ево, к психиватру, — галдели вокруг.

Пошли вон. Я сам себе психиатр! — гаркнул Ублюдов.

Ему стало страшно жаль себя, и он чуть не расплакался. Его утешило только то, что огромный живот его был такой же довольный, как и прежде.

Ублюдова присудили — условно — к одному году исправительно-трудовых работ за нарушение общественного порядка и хулиганство. Но только жене он открыл свою душу.

— Врешь ты все, обормот, — ответила она ему. — Так я и поверила, что ты из-за четвертинки... Цельные десять лет пил... И вдруг... На девок, небось, заглядываться стал, дубина... Оттого и в петлю.

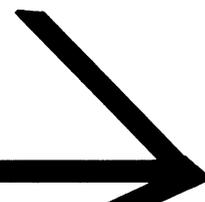
В издательстве «Третья волна» готовятся к печати следующие книги:

«РУССКИЕ ПОЭТЫ НА ЗАПАДЕ». Антология современной русской поэзии.

ок. 230 стр. \$ 10.00

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР. «РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ НА ЗАПАДЕ»
Сборник статей о творчестве художников-нонконформистов. Издание иллюстрировано.

ок. 280 стр. \$ 17.50



В издательстве «Третья волна»

Нью-Йорк, 1984. 320 стр. \$18.50



Сергей Юрьенен
**ВОЛЬНЫЙ
СТРЕЛОК**

Повествование это — несомненно — о любви. Стремительно раскручиваясь, действие романа мчит в салоне черной "Волги" двух его героев — молодого писателя Ивана Иносельцева и его "случайного" знакомого, работника КГБ Кирилла Караева. Для первого это путешествие — прощание с Россией, акт любви перед разлукой навсегда, для второго — умного, циничного и преданного слуги режима — цепь предательств в еще не осознанно возникшем чувстве дружбы. Проблемы писательского творчества в тоталитарном государстве и на свободном Западе — предмет искусно и провокационно затеваемых обаятельным гебистом дискуссий с Иваном, раздираемым мечтой стать свободным творцом и опаленным желанием не разлучаться с Россией.

**ФРАНЦУЗСКАЯ ПРЕССА
О РОМАНЕ "ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК"**

"Мощное воображение Сергея Юрьенена причисляет его к списку великих русских имен. Под его пером оживают белые грибы, малина и черника, бесконечная ночь, исчерченная падающими звездами, листья ольхи, еще покрытые утренней росой, вся глубинная суть земли Матери-России, впитывающей всеми своими нервами того, кто собирается ее покинуть. Точно так же Юрьенен проникает в человеческие судьбы, заверченные круговоротом секса и водки... Первый роман Сергея Юрьенена... это великая книга"

"Фигаро"



■
Алексей Ковалев

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

РАССКАЗ

■

ВЫ ТОЛЬКО ОДНО И ЗНАЕТЕ – ДАВАЙ, РАССКАЗЫВАЙ. А С КАКОЙ СТАТИ, ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ? МНЕ СЕЙЧАС НЕОХОТА, ДА И НЕ ЛЮБЛЮ Я РАССКАЗЫВАТЬ. ВЕДЬ ЭТО КАК БЫВАЕТ? НАЧНИ – ТАК НЕ ДОСЛУШАЕТЕ И, В СУТИ ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАВШИСЬ, УЖЕ НАЧИНАЕТЕ ТОЛКОВАТЬ НА СВОЙ ЛАД. УЖ ВАМ-ТО, КОНЕЧНО, ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ, ПОБОЛЬШЕ МОЕГО. НО ВЫ ЖЕ ГЛАВНОГО НЕ УМЕЕТЕ – НАЧАТЬ, ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА ЧТО-НИБУДЬ. Ну, к примеру, про женщин. Я говорю: "Называется – "Счастье". Ведь можно, кажется, прислушаться спокойно, сообразить, что не с первых пяти слов уже про счастье начнется, тут большого ума не надо. Но только я завожу – женился, мол, я... И все. Вас уже понесло: "Хо-хо! Ха-ха! Какого же рожна – счастья! Будешь, как привязанный сидеть!"

Что вы интересно в этом находите, чтобы за дурачка меня держать? Нет, я не обижаюсь, на вас еще обижаться – здоровья не хватит. Но рассказ-то переломили? А я что хотел сказать. Что жена у меня не то чтобы очень яркая, можно покрасивее на улице увидеть. Правда она родная, и тут вся соль рассказа. Это ведь как кому на роду написано – кому поспело, а кому мимо дела. И вот так примерно через полгода иду я домой и поглядываю вокруг на всех хорошеньких. И такое наслаждение ими любоваться – чем раньше я совершенно не знал. Помню, что и раньше нравилось, но какая-то помеха всегда была, и не одна. Критиканства во мне было больше, а выходит, что вроде реже хорошенькие попадались. А теперь – как пелена спала.

Я это так понимаю, что было большое искушение. Кто за одним удовольствием гонится, тому все равно, да я-то не из таких. И в каждой мне моя будущая жена мерещилась, и ни одна не похожа. А раз не похожа, значит беги дальше. Вот и бегу, однако глаз-то не выколешь? Там руки красивые, тут ножки, глаза, то да се, и такое беспокойство охватывает – тут уж не до любования. Что же теперь? Искать не надо. И любые красотки мне без надобности, если не считать зрительный эффект. А так, сами

по себе, они все весьма хороши. Ничего мне не надо, смотрю во все глаза. Милые вы мои, думаю, до чего же вы все прелесть.

Скрывать не собираюсь, иногда может и представишь себе что-нибудь несуразное, но это все до забора, как в зоопарке. Можно, конечно, вообразить, что к павлину залез и вырвал перо неизвестно для чего. Ребячество. Из-за забора все видать, ребята.

Да разве успеешь? Вы все определили, что привязанный и так далее, и уже на собственных жен перекинулись. Кто же спорит, что у всех по-разному, это еще Лев Николаевич Толстой говорил – не знаю, читали вы или нет. Но толку-то что? Одна болтовня. Ну вас к чертям, вы все знаете.

Странная вещь. Вроде кажется человек я твердый, не ломаюсь, но какая-то расположенность есть к увещаниям. Вроде того, что знаем, мол, что ты о себе думаешь, что упрям и так далее, но мы тебе этого не позволим. И нечего думать о себе хуже, чем ты есть. Человек ты неплохой, и раз просят, удовольствия людям не порть, ни к чему.

А, елки-моталки! Ведь есть же замечательный рассказ, совет сем тепленький...

Да знаете ли вы, что милиционеры тоже странные люди бывают? И с ними такие жуткие вещи случаются, но не в том смысле, как вы думаете, не по работе, а в самой глубине души.

Приметил я его на Казанском вокзале. Молоденький лейтенант, года двадцать два. Идет по перрону меж людей, все куда-то несутся, а он тихонько идет и плачет, а головы не опускает. Слезы текут, и он их аккуратно платочком промакивает. Да, только что какой-то красивый поезд отошел, кажется "Южный Урал".

Долго не думал – догоняю его и говорю:

– Ты прости, лейтенант, но уж очень тревожная обстановка в целом, и прошибает от твоих слез до самых печенок. Сделай ты милость, расскажи, что там стряслось?

Он не отвечает. Я тоже молчу, дело ясное – человек не флю-

гер, туда-сюда не сразу поворачивается. Вышли на площадь. Дальше от вокзала народу стало поменьше.

— Может пойдём — пивка? — говорю.

— Нет, — отвечает, — В форме неудобно.

Стало быть пришел в себя человек. Но не скажу, чтобы очень изменился внешне, только что не плачет и рассуждает немного.

— Ну что ж, — говорю, — прости еще раз, если обидел.

Я, мол, попросту, без всякой тайной мысли.

— Нет, — говорит, — не в этом дело. Вот что, пойдём ко мне.

Может я и расскажу.

И я разумеется без всяких там "неудобно"... Это вы только думаете, что мне лишь бы трепаться. Слушать-то я побольше люблю. Хоть бы и себя, если от вас ничего толком не услышишь.

Словом, приехали мы к нему домой. Квартира у него — точно как у сеструхи моей, кооператив. Одна комната и кухня, правда большая. И все это немислимые деньги, если вдуматься. Нам с ней отец кой-чего оставил, ну я и отдал ей — пусть, думаю, закрепится. Там как раз подвернулось, их библиотечники складывались на этот самый кооператив. И хотя у нее и прописки-то постоянной не было, но ее пустили, потому что очень уважают. Нужный она человек, дар у нее к книжкам есть с детства. И меня-то она читать научила, да и не только читать, а чтобы особый вкус был к этому делу. Ну а теперь она уже в своей квартире второй год. После этого денег у нее — ни шиша, и в квартире кроме книжек ничего почти что и нет, и зарплата вся тоже на них идет. Но я ее не обвиняю. Кто ее знает... Ладно, это в другой раз.

Поднимаемся мы по лестнице, не то с третьего на четвертый, не то с четвертого на пятый — лифт у них не включили еще — он мне и говорит:

— Запомни, Паша, это место — имеет важное значение.

Я ему киваю молча, не то что вы с вопросами вашими дурацкими. Человек, можно сказать, приготовляется. Тут самое главное не сбить с мысли. А место — ничего особенного, ступеньки, перила, да стенка бежевая — только и всего, как везде.

Подошли к двери. Он мне дает ключи.

— Открывай и посмотри. Там в комнате направо на столе цветы в вазе стоят. А может и нет цветов. Впрочем, ты мне скажешь, есть или нет.

Я вот уже во второй раз рассказываю, а в этом месте будто озноб схватывает. Повяло от него холодом каким-то после этих слов. У меня мелькнуло было, что тронулся человек, но тут же я подумал, что так считать, легче всего, да и глупее всего — ежу понятно.

Вошел я в квартиру и сразу увидел: стоят цветы на столе, розовые гвоздики, много, штук двадцать. Когда сразу много таких цветов, как гвоздики, это само по себе беспокойство создает, и я сказать ничего не могу, потому что не знаю, что это значит и как обернется для него. Потом слышу с лестницы:

— Ну как, есть или нет?

— Есть, — говорю, — какие-то.

— Те самые, — входит он и улыбается, — других-то здесь еще и не было.

Проходит в комнату, снимает плащ, потом китель, на цветы не смотрит.

— Давай, говорит, — раздевайся. Ты пива хотел?

— Да нет, это я так. Вот покурить бы.

Сидим, курим оба. Я на диванчике, он за столом.

— Ты не думай, Паша, — говорит он мне, — я еще в своем уме. Но можешь ты понять, что я часто об одной женщине думаю, которую я еще и не видел ни разу? Можешь ли ты это понять?

— Могу.

— И еще скажи, веришь ли ты в призраки?

— Виноват, в какие?

— Да видишь человека, как живого, и даже иногда разговариваешь, а потом он внезапно исчезает.

Я до этого старался все сомнительное пропускать, крепился как мог. Но тут он меня в тупик поставил. Дело в том, что я про такие вещи слышал и даже знал одного, сосед мой был по общежитию. Я однажды целую ночь его отхаживал, сам чуть не спятил, потому что он все беседовал, будто нас не двое в комнате, а четверо или пятеро. И всех — по именам, кому закурить даст, с кого требует что-то. А под утро ему уж отдельные части тела стали видаться, но в ненормальных размерах, совершенно микроскопические, из стен и мебели торчащие. Но тот паренек был поддающий, и все эти дела с ним происходили по сильной пьянке. После того раза он отошел, а вскоре его в больницу забрали и лечили.

А в тупике я оказался потому, что никаким боком это тут не подходило. Что лейтенант непьющий, это как ясный день. И говорил он об этом без страха, а наоборот, как о каком-то чуде и подарке. Если б не тот кирюха в моей биографии, я бы сразу ему навстречу согласился. А тут мне пришлось покачать этот вопрос и так, и сяк, прежде чем я начисто от сравнения отказался, взял себя в руки и спокойно ему ответил:

— Вон что. Врать не буду — никогда не видал, но понять могу.

— Ну и хорошо, — говорит, — давай все-таки пива выпьем.

И пошел в кухню.

Как вы на меня смотрите! Это уму непостижимо. Ну что ж толку вам рассказывать? Это все равно, что в бубен стучать — все одно и то же звените. Ну, дело ваше.

А дальше, пью пиво из тонкого стакана, дожидаясь, когда он начнет.

— Сегодня у нас что? — говорит. — Первое мая. Я дежурил с шести до двух. А потом, думал, поеду домой и буду спать до вечера, а проснусь — позанимаюсь, я учусь на вечернем. Наконец, два часа. Я забежал, записался в журнал и пошел домой... Знаешь что, может я тебе с самого начала расскажу, как все это в первый раз было? Ты не спешишь?

Я говорю:

— Ты вообще-то смотри сам, как тебе удобнее. Но лучше хотелось бы послушать все подробно, если это возможно. А про время не думай, сделай одолжение.

— Я видишь ли не знаю, правильно ли это — рассказывать. Не тебе лично, а вообще. Но теперь, кажется, все кончилось, совсем... — тут он нахмурился и голову опускает. Но преодолел себя. — Может уже самое время? Нет, если это дело расшифровывать, то конечно с самого начала.

И после этого он начал мне рассказывать. И слушал я не шелохнувшись часа три или четыре. Головой не кивал, не глумился и не поддакивал, до того было просто и ясно. Кажется запомнил я все от слова до слова, но важнее всего было — как он говорил, и этого я передать, конечно, не смогу. Это надо почти что артистом быть, чтобы повторить, где он улыбнулся, где замолк на время, где прикрикнул шепотом. А без этого возможно многое теряется. Хотя сестра моя говорит, что все буквально можно себе представить и этого достаточно.

Что говорить, жаль вы его самого не слышали, да и не услышите, потому что такое во второй раз не бывает. Но по крайней мере все, что он рассказал, я передам, за это отвечаю.

Я смотрю: некоторые как будто спешат? Так вы ступайте, пока я не начал, а то нехорошо получается — надо все-таки уважение иметь. Я вроде не анекдоты рассказываю, вам это хорошо известно. И оставшихся прошу меня не торопить и вперед не забегать.

В прошлом году десятая годовщина смерти бабушки была. Поехал Саня на кладбище. (Я его буду Саней называть, а вообще-то он Александр Леонтьевич). Там напротив ворот как раз роддом находится, и он все вспоминал, что каждый раз, когда родственники собирались кого-нибудь хоронить, соседство это непременно отмечали шуткой. А так как соответственно моменту все были друг к другу бережны и внимательны, то жуткая тупость и пошлость шутки этой не особенно вылезала.

И так вот он многих уже успел проводить. Первым на памяти был дядя Саня, двоюродный дед, учитель и домашний философ. Потом дядя Митя, брат его, которого привезли в цинковом ящике, кажется из Владимира. Эти по два раза плакать не заставляли, а постояв в зеленом дворе дома, ехали прямо сюда. Это и был их последний путь. Затем пошли женщины, будто спохватились, что отпустили мужчин одних — бабушка, тетя Наташа, баба Маша, тетя Галя. И все они хотели, чтобы их сожгли. Сюда на кладбище привозили чистые белые вазы с крышкой и прятали в одну могилу — в центр и по углам.

Вот об этом конверте он и задумался. Там обычно тишина, а в этот раз он приехал поздно, где-то в пятом часу, и там совсем никого не было. Стоял тогда ноябрь, деревья еще кое-где листву держали. Сидел он на лавочке перед могилой, прислонившись к чужой ограде, и думал.

Фамилии их когда-то, еще в деревне была единой большой семьей, что называется неделимой. Теперь они давно разделились на разные семьи, и уже трудно было говорить о родственных чувствах. Жили все в одном городе, а встречались редко, знали друг о друге мало и в общем-то не считали, что это ненормально.

А этот приют вечного успокоения иногда собирал их всех вместе и будил в душе какую-то тревогу. Съезжались они охотно (уж это-то я могу для него сделать?) и об особом коварстве места и события забывали. А потом, среди родни их оторопь брала и удивление. Переглядывались они, с трудом разбирая, что там им совесть нашептывает, прислушивались каждый по-своему, откуда угроза веет, и у всех в глазах был вопрос: как с этим быть?

За поминальным столом снова ясно становилось, что у всех своя жизнь, и опять они удивлялись друг другу, но уже по-другому, без всяких загадок, а просто — до чего же они все чужие. Обязательно находился один, кто предлагал разрушить наконец эту чужинку, чтобы не только по такому печальному поводу встречаться. Поддерживали его дружно, успокаивались и расходились на год, на два, до следующих похорон.

И все-таки была какая-то общая семейная тайна, которую берегли немногие. Может она и хранилась в этом могильном письме за пятью печатями — в центре и по углам.

Понимаете теперь, почему я рта не раскрывал? Но это все только предисловие еще или просто особый рассказ. А здесь ему это было нужно, чтобы я как следует понял, что он в тот раз с кладбища унес в своей душе.

Так ничего толком не прояснив, а только загадку эту опять перед собой поставив, пошел он домой пешком и по Бауманским улицам пришел к Покровским воротам и на Чистые Пруды. Стенело уже почти. В сквере было пусто, трамваи только позвякивали. Какая-то женщина одинокая сидела на скамейке, и Саня тоже присел, но не рядом, потому что не женщина эта его привлекла, а просто показалось ему, что удобно будет именно здесь посидеть и посмотреть, как лебеди в сумерках плавают, хотя уже ноябрь и вода должно быть холодная. Не исключено, что он удивление свое как-то вслух высказал, но опять же не ей, а как бы сам с собой говоря. И уже после того, как она ему ответила, он захотел как следует ее разглядеть, потому что слова ее произвели на него сильное впечатление.

И увидел он, что она сидела покойно, не развалясь и не сгорбившись, и казалось ждала или вернее переживала ту путаницу и бесполоквинию, которой маются люди вокруг. Переживала терпеливо и с надеждой. Таких женщин мало становится. А те что остались совершенно не откликаются на суматоху и истерику окружающих. В них живет доброта, чистота и покой, и они надежно прикрыты ровным светом очей. Редко они бывают яркими, звонкими, поэтому таких женщин надо суметь разглядеть.

Слова, что его поразили, напомнили древние, давно утраченные воспоминания, которые даже не ему самому, а матери или еще зрелее — бабушке принадлежали. И услышал он их не сразу, но

когда они до него дошли, оба долго еще сидели молча и смотрели: она — на красивых птиц, которые в холодной воде двигались, а он — на нее.

— Вам можно верить, молодой человек? — вот что она спросила.

И вдоль всего сквера фонари зажглись, мягко и незаметно. И вот Саня был до крайней степени не готов ей ответить. Не в том смысле, что не считал себя не заслуживающим доверия — в этом-то он как раз не сомневался. Но еще больше он был уверен в том, что слов, какими надо отвечать, он не знает.

Молчали они молчали, и уже оба смотрели на воду, и Саня стал догадываться, что надо срочно выбросить из головы все привычное и как бы заново родиться, чтобы ни в коем случае эту женщину здесь не потерять. И не удержавшись, выдохнул одно только "да" в ответ на все происшедшее. Сказал "да" и повернулся к ней, но на скамейке никого не было. Уйти она не могла, так как бульвар просматривался далеко в обе стороны и был пуст.

В этот раз он остался сидеть не шелохнувшись, будто странной тяжестью придавило его к скамейке, и гулко бухало в сердце. Сначала он думал, что заболел, потому что слишком уж все было натурально. Позже он стал считать, что видел что-то вроде сна. Так бывает, когда неожиданно проснешься, чаще всего днем, и неизвестно от чего, и что снилось не помнишь сначала, а только страх, и сердце колотится.

А потом ему уже стало неважно, что именно это было, и остался только ее облик и печальный смысл их короткой беседы.

Через месяц он встретил ее снова в битком набитом вагоне метро. Он не успел еще протолкаться к ней, вдруг ощутив, какое это безумие, что он не знает ее имени, а она уже вышла и пропала. Теперь он метался по станции, по переходам, не помня странности ее первого исчезновения, надеясь найти, догнать — все напрасно.

За этот год он видел ее раз десять, достаточно часто, чтобы потерять голову. Иногда она кивала ему, иногда говорила что-нибудь вроде "как поживаете", чем совершенно сбивала его с толку. Как же ответить, когда он давно не поживает, нет не поживает, а бегаёт с утра до ночи по улицам — благо служба такая — и несется мимо лица, а потом во сне такое же мелькание, а поживать он не может, не успеваёт, да и не хочет, не отыскав ее.

Нет, это преувеличение конечно. Он успевал и многое другое. Он успевал учиться и выполнять свою работу, иногда даже увлекаясь. Но все же если спросить его, чем он в основном занят, он должен был бы сказать: ищущу.

Так с месяц назад он вдруг почувствовал, что очень устал, и направление мыслей его незаметно изменилось. Раза два встретив ее, он уже не рвался догонять, а провожал глазами. Только смотреть на нее — в этом кажется и состоял весь подарок судьбы. Ну что ж, он мог такое понять. Он даже стал как будто спокойнее, только глаза его спрятались глубже и больше прикрылись веками.

Однажды она подошла сама, долго стояла перед ним. Он не двигался, не ждал, что она скажет или сделает что-то. Он ждал, когда она уйдет, и старался думать о чем-нибудь другом. Именно это, как он понял и требовалось: чтобы не видно было, о чем он думает и что чувствует, чтобы не знать этого самому. И вдруг он догадался, что ей наверно все известно. И тогда в самом деле незачем настаивать на своем несчастье. Не уследив за собой, он дотронулся до ее плеча. Нет, дотронуться ему, разумеется, не пришлось. Это была самая первая, и совершенно отчаянная попытка передать ей свое согласие и смирение. Но прикосновения не получилось. Он был один. Вот тогда в первый раз и слетела на него эта косая улыбка. Потом он часто ловил ее на своем лице. Непонятно, откуда она бралась и что ее вызывало. Чаще всего он пропускал момент, когда начинал улыбаться, но стоило себя поймать, как улыбка эта тотчас становилась явной гримасой, так как ничего смешного и ничего приятного за ней не стояло.

Жил он теперь в этой самой новой квартире, куда его роди-

тели поселили. Папа его — какой-то писатель кажется. Я только не понял, вроде он научные книжки пишет, а не художественные.

Стал он больше дома сидеть — дома она никогда не появлялась, а ему это и лучше было. Саня вроде побаиваться стал и если б знать, что больше ее не встретит, то наверно он совсем бы отошел. Ему хотелось, чтобы стала вся эта история воспоминанием, которое он всю жизнь бы берег, как глубокую, личную и бесценную тайну, и мало по малу свикался бы с этой утратой, хотя и чужовишной, но чего в жизни не бывает.

Последнее время он, правда, и нигде ее не встречал, но уверенности быть не могло, слишком долго и тяжело это все наворачивалось.

Первого мая, когда казалось уж весь народ на улице, он всю первую половину дня страшно нервничал, а после своего дежурства, женщину свою не встретив, шел домой опустошенный и усталый, но какая-то другая, незнакомая улыбка зарождалась внутри. Очень он надеялся, что пришел конец этим невыносимым ожиданиям, и можно теперь прощаться с незнакомкой, хотя от этой мысли он закусывал губу, и все вокруг начинало греметь, как кровельное железо.

Вот так, одновременно радуясь и горюя, поднимался он по лестнице, а вокруг громко играла музыка и пахло домашними жареными пирожками. И вдруг — она... Буквально возникла рядом с ним, так близко, что он даже отшатнулся. А она продолжала спускаться, будто так и шла вниз с верхних этажей, хотя он точно знал, что никого перед этим на лестнице не было.

Вмиг стряхнув оцепенение, Саня спокойно, даже суховато сказал: "Здравствуйте", — и хотел идти дальше, но услышал:

— Здравствуйте, здравствуйте, лейтенант. Как поживаете? Все по праздникам работаете? Так ведь совсем света белого не увидишь.

Она была уже далеко внизу, только голос еще был слышен. Слышать от нее эти слова было обидно, но насмешка вроде отрезвила его, и Саня шагнул вверх. Подняв глаза, он увидел, что она сидит на ступеньках, на следующем марше лестницы, уткнувшись лицом в колени.

Ну не бежать же было от дома. Он поднялся, остановился чуть пониже нее и прислонился к стене. Женщина, не поднимая головы, повернулась к нему лицом и сказала:

— Ну вот. А я все жду, жду. Забыла даже, как ты выглядишь. Вот вспоминаю.

Я может какие слова и перевру, но выходило буквально так, что они давно знакомы и чем-то связаны, хотя, как я уже говорил, он даже имени ее не знал, ни кто она, ни откуда.

И вот в этот сложный момент, ему ничего другого не оставаясь, как вступить в этот разговор на тех же опасных основаниях.

— Не сердись, — он говорит.

— Я не сержусь. Ты же не виноват, что у тебя работа такая.

Подав ей руку, чтобы помочь подняться, а подниматься, как вы догадываетесь, уж и некому. В этом склоненном положении его и застал один любопытный гражданин, который по лестнице спускался. Остановился и молчит.

— Ну? — спрашивает Саня.

— А что это вы делаете? Что случилось?

Саня дорогу ему освободил и говорит:

— Проходите пожалуйста.

А тот со своих праздничных глаз проходить не хочет, а наоборот, все ему интересно. И вообще, если есть возможность наладить связи с милицией, надо пользоваться, тем более, что соседи.

— А... — говорит, — я понимаю. Что-нибудь... Да?

— Проходите, гражданин.

Ну, настоял он на своем. Все-таки сосед пошел вниз, хотя и продолжает бормотать, что, мол, что тут такого, я все же здесь живу и имею право знать и так далее. Но Саня этого уже не слышит. А слышит он, что наверху каблучки стучат. Побежал он наверх и

успел увидеть, как она открывает ключом его квартиру, входит и дверь захлопывает. Бежит он дальше, останавливается перед своей дверью и стучит. Дернуло его, что надо именно стучать, хотя звонок есть. Раз постучал, другой, третий. Пока наконец соседняя дверь не открылась и не выглянул мальчишка, Игорек. Лет-то ему немного было, но понять, что если человек один живет, то стучать ему к себе в квартиру не следует, он, конечно, мог.

— Здравствуй, Игорь.

— Здравствуйте. С праздником вас.

— И тебя тоже. И папу с мамой поздравь.

— Спасибо.

Достал Саня ключ и отпер дверь.

Наверно вы понимаете, каково ему было прийти в свою холостяцкую квартиру и делать все как всегда — плащ повесить, включить приемник; пока тот нагреется, снять китель, закурить, потом музыку поискать и при этом слышать, как на кухне посуда гремит. Пойти поглядеть, как она там хозяйничает, нельзя. То есть буквально ничего нельзя предпринять, чтобы опять не увидеть себя в зеркале в каком-нибудь неестественном положении. Только сиди и жди. Так он и сделал. Ну и, разумеется, она тут как тут, стоит у книжного шкафа, корешки рассматривает.

— Как живешь, лейтенант?

— А ты?

— Можно я потанцую? — говорит. Саня плечами пожал, а сказать ни да, ни нет не решился. Неужели, думает, еще и это придется выдержать? Музыка, правда, какая-то дурная была — полечка не полечка, вобщем вроде не для танцев совсем. И танцевать она не стала, а села за стол напротив него и говорит:

— Есть хочешь?

Саня головой покачал и ей предложил:

— Ешь.

Намазала она маслом хлеб и кусочек откусила.

Ну как вы думаете, долго может нормальный человек принимать в этом участие? И как ему не хотелось это присутствие продолжить, но не сидеть же дурак дураком и смотреть, как она поест и растворится. Саня не шевелится, на нее не смотрит и говорит:

— Что делать будем?

— Мне сегодня один грузин в троллейбусе говорит: "Можно мне за вами сойти?" А я ему по-грузински: "Ара". — говорю. Он так обрадовался, даже сойти забыл.

И поймал Саня взглядом ее руку, лежащую на столе, и заняло его сердце нестерпимо. Показалось ему, что ее рука совсем другое говорит. Что жалуется она ему на какой-то запрет, который не позволяет ее хозяйке вести себя просто и безопасно. Будто заклятье на ней какое-то, и будто рука эта, пальцами вздрагивая, просит его помощи и просит страх свой переступить и продолжать ошибки совершать, несмотря на весь риск.

Погасил он сигарету, дым разогнал и своей ладонью руку ее накрыл.

Все как обычно — лежит на столе его рука ни к месту, ни ко времени. Сидит Саня среди дня один за пустым столом и слушает, как по радио дикторша какую-то белиберду несет:

— Поскольку исполнитель этой песни поет ее на своем языке, я объясню, что это за история...

В дверь позвонили, но Саня даже головы не повернул.

... Парню досталась последняя пластинка. Он уже собирался взять ее, но увидев, как огорчилась девушка, стоявшая за ним, подарил ей пластинку. Вот и вся история, скажете вы? Нет, это только начало. Парень стал встречаться с девушкой. Целый год они танцевали под эту пластинку, а потом, естественно, поженились.

Стукнул Саня кулаком по нелепой своей руке и пошел в переднюю.

Это была все она же. Только на этот раз рядом с ней чемодан

стоял, а в руках у нее был большой букет цветов. Помолчали они, поглядели друг на друга. Она и говорит:

– Извините, я ошиблась кажется.

– Бывает, чего там... – говорит Саня. Еще шире дверь раск-рыл и приглашает, – Пожалуйста.

– Нет, правда извините. Я случайно.

– Да, да, все в порядке. Пожалуйста, – продолжает он ее в дом приглашать.

– Зачем?

– Ну уж исчерпайте до конца свою ошибку, посидите пять минут.

– Да нет, для чего?

– Ну пожалуйста. Ну прошу вас, ну все-таки.

– Нет, нет, не стоит.

– Нет? Категорически? – и хлопнул Саня дверью, да так, что известка посыпалась. Но из прихожей не ушел. Слабость какая-то его схватила. Почувствовал, что взмок и ноги дрожат, и голова кружится. А звонок опять ожил. И раз звонит, и другой, и третий. Саня дверь отпер и не оборачиваясь пошел в комнату. Все плывет – он форточку открыл и стоит дышит. И слышит, что она вошла тоже, остановилась в дверях.

– Чаю хотите?

– Нет, неудобно все-таки. Я пойду. Я просто не поняла, почему вы разозлились.

– Да бросьте вы – неудобно. Чего неудобно?

– Ну как? Ну совершенно незнакомый дом?

– Пусть это будет ваш дом. А я случайно забрел. Вот стою, озираюсь. Чайком не угостите?

– Не знаю... если есть...

– Есть наверняка.

– Ну хорошо. Сейчас.

Она поставила чемодан, положила на него цветы и пошла в кухню. Саня пошел следом. Хотел было убрать с дороги чемодан, но руку на полпути задержал. Стоит и на чемодан смотрит. Потом обошел его аккуратно и у кухни в дверях остановился. Она, как была в пальто, чайник ополаскивает, а большой уже на огне.

– Вы один живете?

– Нет, у меня жена и трое детей.

– Не врете только. Что это за женщина, у которой такое скудное хозяйство?

– Да как-то оно повелось с самого начала наперекосяк. То есть она, то ее нет... Тут не то что хозяйство, хоть бы ее саму приоб-рести.

– Что-то непонятно вы говорите. Ссоритесь что ли?

– Нет. Даже до этого не доходит. Ладно, я в комнате подожд-ду.

И вернулся Саня в комнату. А сделал он это потому, что об-ратил вдруг внимание на необычайную узость коридорчика, кото-рый в кухню вел. И увидел, что им никак не разминутся, когда она чай понесет.

Она скоро тоже пришла. И тоже на свой чемодан чуть не на-ткнулась.

– Фу, бестолковая, – говорит. Чайники на стол поставила и пошла чемодан убирать. Не выдержал Саня невежливости своей и з-ванулся помочь, да опять сам себя оборвал и сел обратно. Толь-ко выругался: "Черт!"

Она посмотрела на него недоуменно.

– Что?

– Ничего. Извините.

И смотрит он, как она чемодан к стенке отставляет, а он тя-желый. Цветы она забрала оттуда, взяла вазу со стола, сходила в кухню воды набрать и вернулась. Налила чай в чашки, подвинула одну к Сане. Хотел он взяться за чашку, но не взялся и спросил вдруг:

– Сколько у меня есть времени?

– Не поняла, – она даже наклонилась вперед.

– А, неважно! Чепуха.

– Вы очень расстроены чем-то?

– Пейте чай.

– Как вас зовут?

– Александр Леонтьевич, – а ее спросить боится. Ведь это почти что то же самое, что помочь чемодан переставить или чашку из ее рук взять.

– А я хотела зайти попрощаться с друзьями. Я, Саша, уез-жаю сейчас. Надолго, наверно.

Говорит она на него не глядя, и чай свой ложечкой помещи-вает.

– Хотите я вам свой адрес оставлю?

– Чай ваш остыл давно.

– Да мне уже и не хочется. Собственно, и раньше не хотелось.

И она поднялась.

– Можно я вас провожу?

Вышли они на лестницу. Стал Саня дверь закрывать, а в шелку видит – цветы стоят на столе. И пока он медленно дверь прикрывал, все смотрел на них.

Поехали они на вокзал. Ни слова друг другу больше не ска-зали. Он уж и не рад был, что затеял эти проводы. Действительно глупо получалось. Несет женщина сама чемодан и видно, что тяже-лый, а он идет рядом как ни в чем не бывало – даже оглядывались на них.

И остался он на перроне совсем в невменяемом состоянии. Потому что на этот раз ничего странного в ее исчезновении не бы-ло, а просто она медленно и зримо удалялась вместе с поездом и с такими же как она и как он, Саня, людьми – пассажирами.

Вот и прикиньте, как ему было теперь домой возвращаться и думать, что он там застанет. Он-то по привычке рассчитывал, что ничего там не изменилось, однако сомнение его взяло: а вдруг там в вазе – цветы как цветы? Он же по озлоблению своему так круто ее проводил – ни имени, ни адреса не захотел принять.

В этот момент я на него и наткнулся. Что было дальше, я уже рассказывал – и как мы к нему пришли, и как эти гвоздики проклятые я первый увидал. Вот вам и призраки.

А дальше что же? Дальше уж другая история будет. Я толь-ко сказал ему:

– Ищи ее, Александр Леонтьевич, и не отчаивайся. Если че-ловек жив здоров на земле, нет никаких причин унывать.

Я даже подсказал ему, что поезд-то как видно был все тот же "Южный Урал". Он-то этого не запомнил конечно. А ста-ло быть, и искать надо в этом направлении.

Чего-то вы закисли. Не понравилось что ли? Или думаете наврал? Ну так не просите в следующий раз. Однако пообедат-ли, хватит. Надо и подработать малость. Ну-ка, прими ноги-то с тележки. Развалился.

И Паша Серебров заспешил в дальний конец перрона, что-бы первым подхватить побольше нуждающихся в помощи пу-тешественников.

1977 г.

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ "ТРЕТЬЯ ВОЛНА" №16

рассказы В. Нечаева, М. Зайчика и Ю. Гальперина, стихи Г. Сапгира и С. Петруниса, статьи о выставках в Музее современного русского искусства в Монжеро-не, о экспозиции художников второй эмиграции, о выставке группы "Соц-Арт", о персональной экспо-зиции В. Длуги, а также эссе А. Глезера о творчестве художников Л. Мастерковой и В. Кропивницкой.

СПАСУТСЯ ЛИШЬ КРЫСЫ
С КРЕСТОМ НА СПИНЕ

Спасутся лишь крысы с крестом на спине, — научно доказывают японцы на страницах повести Владимира Маканина "Предтеча", которая стала в метрополии одним из событий минувшего литературного года...

НАЗВАНИЕ

...ему вдруг... открылось, что истина сложна и что истина — не тот или иной говорун или гений, а процесс. Истина это череда гениев.

(Якушкин) был не гений — был предтеча.

ОБЛИК

Помимо своей чудовищной говорливости, Якушкин передавал энергию внешне совсем просто, и, может быть, слишком просто — из рук в руки; делалось же это втиранием, делалось не всегда и не направо-налево, а исключительно в кризисные ночи, когда умирающий — умирал (...)

Он входил, и, едва слышались его бующие шаги, больной в постели трепетал и дергался, как трепещет и дергается телом молоденькая женщина перед объятьями... Якушкин, перетоптавшись возле постели, садился; он не спешил: минуту-две старый знахарь не видел больного и взгляд его застывал... старик надувался: казалось, он выродит сейчас от натуги некое огромное яйцо. может быть, птенца. Глаза у него округлялись. Он багровел. Склоняясь к больному, мелко и зажданно подрагивающему от нетерпения, знахарь брал наконец ладони его в свои... — Ну, будешь за жизнь бороться?..

Неизменно доброжелательный в первые минуты Якушкин не говорил умирающему, что тот, если уж по совести, давным-давно должен прикармливать собой червей... Лишь после, распросами вызвав и выманив (или же просто выждав) минуту человеческой слабости, он начинал орать и грубо тыкать: "Чего, чего, сука, хнычешь — давай-ка лучше, в чем перед природой провинился. Ну?.. Небось жрал чрезмерно? Небось на должности лез, отпихивая локтями? Блядовал? Пил?!"

...Над больным... нависал приближившийся и огромный стариковский череп, на котором под седыми волосами тянулся, темнея, неровный зигзагообразный шрам...

Один из пристальных эмигрантских читателей усматривает в этом шраме знак Богоизбранности: известны изображения Будд, на лысом черепе которых лепится пивочный нарост. Зная интерес автора к буддизму и, в частности, к тибетской медицине, можно предположить, что эта деталь функциональна: ведь речь не о лекарсколдуне, заговаривающем больные зубы, — о полуБогe, побеждающем болезнь на три буквы — рак.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

... рассказ Якушкина всегда начинался с того времени, когда он, проворовавшийся, отбывал наказание в Сибири — стояла таежная зима, вели там долгие и изнурительные земляные работы; там-то он вдруг понял ИСТИНУ. И именно в эту самую минуту (или в минуту очень-очень близкую) напарник, уже вполне исправляющийся и по-своему милый бандит Зотов, сказал — перекурю, мол, придержи, Якушкин же, ослепленный красотой открывшейся истины, замешкался и не расслышал. Бревно упало ему на голову. Он потерял сознание... Якушкин лежал на больничной койке, но в сущности Якушкин вспыхивал и Якушкин гас; в перемежающемся сознании, повторяясь, нет-нет и виделась, взяв яркая вспышка прозрения, — истина, как рассказывал после Якушкин, не была похожа на услышанное, или подсказанное, или даже нашептанное откуда-то и кем-то более была, пожалуй, похожа на белую или белесую ветвистую молнию в чернильной тьме. Когда он пришел в себя, истина не была снаружи — была внутри, сохранившись и угнездившись.

ГЕРОЙ

Дело не в мотивировках: перед нами, в конце концов, подцензурное произведе-

ние. Так что пусть и проворовавшийся, но зэк. Зэк, пораженный молнией откровения, ударом тока, не ушедшего в землю, а преобразовавшегося душой. Зэк — аккумулятор Божьей силы. Зэк — полуБог, вступающий в борьбу с главным злом XX века... Можно говорить о мифе, но в данном случае более уместно слово стереотип (в переводе с греческого — "твердый отпечаток"). "Не литература выдумала стереотип. Стереотип был всегда, до литературы — тоже. И более того: литература отчасти и возникла, чтобы работать с существующими уже стереотипами, либо разрушая их, либо создавая новые", — писал Владимир Маканин*, утвердивший свое творческое своеобразие беспощадным разрушением стереотипов во имя поиска человека живого. Что же касается его последней повести, то здесь, и, вероятно, бессознательно, стремление к "живой жизни" совпало с "оттиском", оставленным в общественном сознании автором "Ракового корпуса" и "Архипелага ГУЛага": так возник герой "Предтечи" зэк-знахарь. Более чем положительный: героический.

* Владимир Маканин. Голоса. Повести и рассказы. М. "Советская Россия", 1982, с. 307-309.

ЭСТЕТИЗМ ПРАВДЫ

"Кореланов Алексей — 20 лет, тощенький городской паренек. Лежал в клинике с запущенной килограммовой опухолью за ухом (есть снимок), — через ухо опухоль распространилась в горло. Дыхание перекрыто. Операцию сочли невозможной. Выписан из клиники, дабы умер не на чужих руках..."

Коляня вел запись.

"1-я неделя. Втирание энергии через руки. Обычные для Якушкина изначальные шаги его врачевания — знахарь сламывает человеческую суть больного, с тем, чтобы, как паук, высосать и заглотить душу..."

...Якушкин говорил уже семнадцатые сутки подряд, такого, кажется, не бывало, и Коляня предполагал, что знахарь на этот раз бессилен... Чудо случилось вновь... Внушительный мешок опухоли покрылся мелкими трещинками, а затем целой сетью трещин, как бы подрисованных тонким пером и тушью. Еще через два дня опухоль раскрылась, как раскрывается цветок..."

ПАТОГЕНЕЗ

О патогенности тоталитарной системы впервые в русской литературе заговорил,

Владимир Маканин, Предтеча. М., "Советский писатель". 1983. (Тираж: 100 000 экз.)

кажется, доктор Живаго Юрий Андреевич: "В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний... Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного кривоизгиба. Нельзя без последственного для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь... Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно"!*

Экспансия этой системы вширь подказала Солженицыну еще более грозный диагноз: рак. Будь в свое время опубликован в стране "Раковый корпус", может, и не дал бы — кто знает? — брежневский "зрелый социализм" такой кривой смертности. Но болезнь попытались загнать вглубь, и "овнутренний" символ метастазами пророс в реальность, осуществляя массовый террор изнутри общественного организма, пораженного на данной стадии тем, что страшнее самого рака, — уверенностью в обреченности:

"Якушкин... говорил о главном: вы, мол, дорогие мои, никакие рабочие и никакие не служащие (вариант — не монтеры вы и не инженеры), вы, мол, даже не мужчины и не женщины, — тут он до шепота понижал голос, делясь своим секретом: "...Вы — братья и сестры".

...Половина подобралась, конечно, из тех больных, что со скепсисом в лице и с желчью в слове (на лучших сидели стульях) — с раздутыми животами, с искривленными ногами или же изможденные, изъеденные внутренним недугом. Пришедшие послушать из обычного и широкого любопытства больных, они (Якушкин это знал) скоро разбегутся, крысы, не слышащие и не верящие, как их еще назвать... однако этими-то, которые разбежались скоро, он, может быть, дорожил больше всего. Для них он как бы и говорил, пытаясь криком и страстью пролезть, если уж не проникнуть в их серое нутро.

* Борис Пастернак, Доктор Живаго. "Фельетинелли", Милан, 1961, с. 494-495.

О КРЫСАХ И ЛЮДЯХ

"Вы должны любить окружающих вас, — ярился и покрикивал знахарь. — Сослуживца и соседа полюбите с их говном!.. — Если мысль его сбивалась, он тем более орал и хрипел, хотя бы уже ором и хрипом расчищая и как бы обеспечивая себе особое, ознобистое место в душе слушающего, — ...стало быть, уже человек?! Э, нет. Вы не люди. Вы подонки. Вы слишком спорчены... вам еще любить и любить, пока станете людьми!"

Дала ли плоды аввакумовская ярость бывшего ээка? Слишком часто, и в этом inferнальный юмор, результатом его "выходов на смерть" было воскрешение поистине безнадежных персонажей: "Был он умирающий, а затем лежащий больной, а затем больной сидячий и вяло жующий. Он обрастал плотью, и мало-помалу оказалось, что ему сорок три года и что он мастер в ателье, где чинились стиральные машины: низкорослый мастерушка, недобрый, сквернословящий каждую минуту и мнительный, — выяснился человек. Выяснилось, что он живой". Живой настолько, что уже грозит врезать молотком по кумполу: зачем, мол, спас? Просили, что ль?

А в ответ на проповеди у них, законченных, рождалась встречная ярость: "Они были согласны на плохой конец. Они были согласны на страшные болезни после, лишь бы сейчас все было хорошо. Да плевать мы хотели на твое после, — кричали они, уже не сдерживаясь, — подождем, и ладно, не твоя забота!"

Справляясь со следствием, знахарь первопричину не сумел победить (и потерял дар, "размагнитился", а после — умер, в поисках спасительного корня закопавшись в землю). Первопричина же — не в е р и е, порождающее общую предрасположенность к небытию, парализующее защитные силы организма, что в заключение повести о людях Маканин еще раз, резюмирующе, "доказывает" на крысах, существах не менее угрожающих: недаром перед началом "японского эксперимента" его постановщик доктор Мусока напоминает читателю, что "крысы едва не погубили человечество, и, будучи разносчиками чумы, уничтожили людей куда больше, чем Наполеон и Чингиз-хан, взятые вместе..."

Эксперимент несложен. Стеклобурья лабиринт, полный убийственных ловушек с иглами, являет собой модель убедительной, но кажущейся безысходности: на самом деле выход есть. Нужно только не потерять веру в спасение. Среди участников крысиного забега есть пара, сто пятьдесят раз проходившая испытание лабиринтом, но не до конца: спустя всего лишь четверть пути эту пару вынимала, спасая, рука человеческая. Условный рефлекс "чуда" укрепил в них инстинктивную веру в возможность спасения. Эту пару отмечают, наведя на их спинах белый крест мгновенно сохнувшей краской — и в добрый путь!.. Крысы неслись обезумевшие. Они прыгали вверх и вниз, карабкающиеся, царапали стекло ящичка, только тут вспомнив о трехмерности Божьего пространства и о том, что из этого ада, быть может, удастся выбраться через верх; каков же был ад, если крысы стали похожи на птиц. Но выбраться было уже

невозможно. Свет — выход — уже едва ли манил мечущихся от иглы к игле с единственной целью: уцелеть".

Но погибли все, напоровшись на иглы. За исключением пары, отмеченной крестом. "Они и пришли вдвоем. Обычные, верящие в чудо, крысы".

АВТОР

Москвич Владимир Маканин дебютировал еще в эпоху оттепели" 60-х — романом "Прямая линия". В "замороженные" 70-е линия этой писательской судьбы свелась, казалось, к исчезающему пунктиру, однако "час Маканина" наступил — на переломе минувшего десятилетия с нынешним, когда предчувствие финала "брежневской" эпохи вместе с неизбежными надеждами вызвала в стране выброс творческой энергии. С тех пор — после выхода сборников повестей и рассказов "Голоса", "В большом городе", "Река с быстрым течением", романа "Портрет и вокруг" — Маканин остается в центре внимания критиков и читателей. Послебрежневская волна гонений на "деревенщиков" его обошла: давным-давно усилиями критики как-то утвердилось, что маканинскую прозу должно числить по разряду "городской". Правомерно ли это?

Даже с точки зрения тематики — только отчасти. Не только "большой город" интересует писателя, но и "поселок". Поселок не только "городского типа", но и сельского, переходящего в самую что ни на есть деревню, а подчас — и в полное отсутствие даже таких примет "социалистической цивилизованности", как лагерные бараки. Но влечет его при этом не "назад, к природе", а (скажем так) "вперед, к бытию". И по сути своей Маканин именно "деревенщик". Не из тех, разумеется, кто воспекает Кровь и Почву с целью заблаговременного укрепления "морально-политического потенциала" (по определению Сталина — "постоянно действующего фактора войны"). Этим "военных патриотов" давно, наконец, пора вынести за скобки "онтологического" направления, к которому московский критик Галина Белая с полным на то основанием относит "деревенщиков", в защите бытия (не первобытности) полагающих свою сверхзадачу.

Однако от Распутина и Крупина Маканин все же отличается, и мне думается, принципиально. Тем, что "последний срок", "сороковой день" поминования становится для него моментом изначальным: сроком предвестия.

Повесть "Предтеча", на мой взгляд, знаменует преодоление "апокалиптичности" в русской прозе наших дней. Засвидетельствовав "конец света", отныне, похоже, она предпринимает поиск начал.

Сергей Юрьенен



«ОБЛАГОРОДИТЬ ЧТОБ ПОДОШВЫ ПЕШЕХОДОВ...»

Сказывается ли опыт чтения запальной журналистики пушкинского времени или беззастенчиво-назидательный публицистики третьего сословия 60-х годов, или категоричность рецензий-приговоров постреволюционного времени, но первое, что замечаешь в русской зарубежной периодике: критика беззуба. Шамкает невнятно из соображений меркантильных: прокормиться бы; из немощи ли: не турнули бы вон; или из запоздало наступившей зрелости инфантильного поколения — зрелости стариковской, подобрившей, мудрствующей лукаво? Уж не доросли ли мы в самом деле до понимания, что похвала — методологически есть стимул личного прогресса: похвала, но не обругивание. В большой степени процесс творчества и есть: развитие личностных достоинств и случается даже доращивание собственных недостатков до категории достоинств. Открывшись читателю заведомо, сознаемся, что в этом и содержится причина положительной рецензии на вышедшую в издательстве "Руссика" книгу стихов Сергея Петруниса.

Разочаруем оппонентов: похвала не вызывается нежными чувствами к макулатуре или пасторальной любовью ко всем пишущим, в отличие от неписущих. Похвала — пусть это не покажется парадоксальным — укладывается в понятия строгих мнений и находится внутри того состояния, которое определил Мандельштам: "В поэзии всегда война. И только в эпохи общественного идиотизма наступает мир или перемирие."

Книга Сергея Петруниса начинается
Чтобы жить, как жил,
и не вешаться,
берегись собак,
больных бешенством,
не стреляй в висок
пулей маленькой,
помни — маков цвет
очень аленький.

Мы современники серебряного века...

— поэт рос в эпоху страсти к искуплению вины перед культурой. Кончилась изученная "до-гутенберговская" эпоха эпоса, ее сменила интенсивная письменность: собиранье, переоткрытие, вытаскивание на свет архивов, поток мемуаров, публикаций самиздатских и зарубежных, печатание и перепечатывание... Эта счастливая работа создала редкое состояние культуры: можно не преувеличивая сказать, все читатели параллельно и писали. Читали они все возможное, но больше всего — стихи, потому что их больше всего писали и потому, что стихи — это лучшее, что от прошедшего времени остается в языке и в сознании. Эта эпоха продлилась недолго, но она успела создать поколение, т.е. механизм великой инерции. Язык же отреагировал в новых условиях физиологически, как на аллерген: сыплю, зудом, языки стали чесаться. Навязанный жаргон аппарата и фразеология соц. реалистических рамок не были приняты к употреблению и не загостились во времени. Другое дело язык блатных, эзков и гипертрофированно-канцелярская тарбарщина — этот язык стал общеупотребительным. Практически же на фене мы и объясняемся: такова, то есть, суть нашего сознания — язык отождествил себя с гражданами вне закона, с придурками по приказной части.

Из предисловия узнаем, что Сергей Петрунис стал печататься только после отъезда, ибо "само качество его голоса оказалось неприемлемым для советских издателей". Чем отличаются стихи печатные от непечатных? Языком. Дикцией. Речью.

Один прекрасный человек

прекрасный чтобы петь
Засунул в рот весь свой кулак
и пробует свистеть

Стишок, начинаясь невинно утверждением и повторением, сходным с: "для счастья, как птица для полета", — сбивается и впадает в идиотию, фиксирующую без удивления попытку претворения нонсенса в действительность. Речь, начинаясь воодушевленно-ликующей — без особой на то причины — интонацией, заводит поэта в тупик реальности, столкнувшись с которым, он обрывается на полуслове.

Другой пример: речь, закаленная дидактическими плакатными императивами:

Эта речь, затеребленная до обесмысливания футуристами, наторевшая на абсурдистских ходах обернутов, стремится преодолеть пройденный урок, но натывается на рогатку сознания:

поэты нужны как зоопарки.

Речь, печально амикошенствующая с цитатами великих, подтасованных лояльными учеными шулерами:

жжет себе глаголом сердца дворне.

Речь, запросто обращающаяся с темами, каковые отсутствуют в отечественной литературе. Там нет одиночества — в общежитии размером со страну:

Как в одиноком размышленьи
обычна примесь мазохизма...

Там нет секса — любовь так и ходит под ручку с дружбой:

ее постель расстелена,
халатик-беж распахнут,
и всякий, кто захочет,
Карину может трахнуть...

Там нет смерти — сплошное бессмертие за "в жизни всегда есть место подвигу":

когда в отчаяньи, что смертен...

Книга Сергея Петруниса, начинаясь с ориентира времени, отмечает и географию авторского пространства: Москва, Голландский пейзаж, Ленинград, Донской монастырь, снега Килиманджаро, Троя, Звенигород, Нью-Йорк, Паланга, Краков, Вена, дер. Свобода, река-Угра, река Неглинка, бульвар Петровский, Берлин, Монголия, пустыня Гоби, Улан-батор, Шереметьево, кинотеатр "Эрмитаж", Трубная площадь, речка Линявка, дер. Щербаки. Перечисление увлекательно само по себе, особенно если оно говорит о маршрутах знакомых и совместных. Такое перечисление насущно, когда, будучи представленным кому-то, мы начинаем искать сначала общих знакомых, будто проводя магический круг общего пространства.

Вот имена, приведенные в книге: Моцарт, Гамлет, Феофан Грек, Пастернак, Иуда, Мерани, Минерва, Фалес, Цветаева, де Фалья, Гумберт и Лола, Мятлев, Коперник, Хлебников, Пржевальский, Вертер, Рихтер, Бах, Лакло, иероглиф "Достоевский", соседка Елизавета Петровна, Смуглоснежка, иероглиф "виссарион белинский", Басё, Шуша, Леший, Иванушка-дурачок, Стравинский. Ремизов плюс несколько женских имен собственных.

В конце концов существует единственный личный критерий качества стихов: хочется ли их по прочтении повторить, однако чтобы это узнать, их надо сначала прочесть.

Марина Темкина

Сергей Петрунис. Иероглифы. Сборник стихов и лирической прозы. Нью-Йорк, изд-во "Руссика", 1982.



НОСТАЛЬГИЯ ПО ОДИНОЧЕСТВУ

Ностальгия, вечная спутница эмиграции — удел тех, кто не боится грусти. Одни скрывают ее, стесняются ностальгии, как слабости. Другие полагают, что и вовсе не испытывают ее, убеждая себя и других в том, что свобода передвижения и подробное описание лагерей убивают ее начисто. Страх перед тоской запрещают им перелистывать жизнь, вспоминать то чудесное, что наполняло ее когда-то, и им легче начать жизнь заново, чем останавливаться и прислушиваться к собственному сердцу.

Но часто за ностальгией по родным местам и людям, скрывается тоска еще более глубокая — по себе в прошлом, по

"утраченному времени", а в ней-то, быть на вечерних улицах... Словно в наркотическом сне, еще не догадываясь о его мимолетности, я перепечатывал рассказ и наслаждался обладанием мира и обладанием себя". Завершена сделка с дьяволом-искусителем, ему отдана душа, жизнь, уместившаяся в тонкой стопке отпечатанных листов. С той же безудержной отдачей играл свое соло на саксофоне отец, который однажды не смог выдержать наступившего после игры опустошения. Оборвалась мелодия. Остановилась жизнь. Само понятие "соло" переключается здесь с латинским — "одиночество".

"Одну и ту же историю, — след в сердце, можно рассказать по-разному, меняя оттенки и настроения, и, казалось бы, их не исчерпать. Но воспоминания — блюз. И вспоминая, каждый раз выдаешь это по-новому, сколько бы не приходилось повторять". Эта цитата из книги молодого писателя Юрия Гальперина, в 1979 году эмигрировавшего на Запад, выпущенная в конце прошлого года издательством "Третья волна".

Повесть эта — грустная песенка. Она сама — блюз, свободная по композиции, лирическая и тревожная по интонационному строю. Эта повесть о любви, об одиночестве, о Ленинграде и о музыке. В ней нет отталкивающих персонажей, она оторвана от злободневной политики, от реальности, которой посвящено много замечательных книг, и именно этот факт выделяет повесть Гальперина из русской прозы, написанной в 70-е годы.

Сюжет ее прост настолько, что легче назвать ее свободным повествованием, размышлением. Проблемы героя лежат в сфере внутренней жизни. В той же мере, что и у отца, чудака-музыканта, поглощенного своим блюзом.

"У каждого своя нота, сынок, — ты, главное, слушай внимательно. И не важно, кто там во что горазд. Важно, чтобы нота твоя не была фальшивой..." Ноту отца унаследовал сын. Только звук заменился словом — он стал писателем. Как и отец, он одинок в мире, но не тем одиночеством, что тяготит физически, а другим, необходимым в момент творчества. Повторяя булгаковского Мастера, герой повести Гальперина пишет рассказ. Правда, интересен не этот факт, а описание самого творческого процесса создания рассказа, "моей беды", как называет его автор. "Первый рассказ ошеломил, оглушил неожиданным освобождением от томления долгих пустых ночей, беспечных и бесплодных поисков

Эта повесть возвращает в Ленинград, не предвзятый, когда хотелось запомнить узор на решетке Летнего сада, а обычный, с летним дождем, ветром с залива и "взбунтовавшейся рекой". Постоянные ночные купания у Петропавловской крепости, повторяющаяся картина бегущих лошадей наводят на мысль об известных ассоциациях: лошадь — символ женщины и море — символ любви, но автор сам предостерегает: "Рецензенты, они горазды отыскивать то, чего и в помине нет". Поэтому пусть читатель догадывается сам. А что касается ассоциаций, их вызывают и удачные "ленинградские" эпитеты: "слякотная неуверенность внутри", "снежная сумятица", "холодное яблоко — румяная щека".

Намеренно или бессознательно следуя импровизации, Гальперин повторяет иногда одни и те же эпизоды, варьируя их концовку.

Если существует термин "лирическая проза" — повесть эту можно отнести к ее разряду — по настроению и интонации, по легкости любовного диалога, как, например, в сцене на острове:

- Это мне цветок?
- Тебе.
- Интересно, где ты его взял?
- Сорвал.

Повесть Юрия Гальперина — свободная импровизация и она исполнена мастерски. По крайней мере, в ней нет фальшивых нот.

Ксана Мечик

Юрий Гальперин. Играем блюз. Повесть. Нью-Йорк — Париж, изд-во "Третья волна", 1983.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ИСТОРИЮ ПРОДАЖИ ШЕДЕВРОВ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ ИЗ ЭРМИТАЖА ЗА ОКЕАН.



ТРЕТЬЯ ГЛАВА

1.

Я впервые в доме у Шпреегарта. У него в руках серебряные щипчики, изображающие львиные лапы:

— Позвольте за вами поухаживать: я у нас за хозяйку.

И стал накладывать в мой стакан сахар.

— Что вы! Что вы!

— А это вам в наказание, чтобы не церемоничали. Вот и ложечкой еще размешаю.

— Нет, вы право же...

— Сами виноваты, если бы вы...

Он будто замешкался над неподатливым словом:

— Я и говорю, сами же вы...

И сморщил нос.

— Фу, как противно получается с этим "вы"!

И, сощурился.

— Меня дома зовут: Лео.

И не договорив, стал в моем стакане размешивать сахар. Ложечка тинькала:

— Видишь, скотина, какой я милый, какой я замечательный.

Мне ничего не оставалось, как прикрыть ладонями кончики ушей, покрасневшие от удовольствия.

А Шпреегарт в эту минуту задумался над тем, какое бы подобрать для лица выражение. Собственно, подбор у него был

весьма ограниченный. Впоследствии я почти безошибочно угадывал: на чем он в таком-то и таком-то случае остановится. Иногда я в шутку советовал:

- Лео, саркастически переломи губы, скажи пошлость.
- Лео, ты в недоумении, вскинь мефистофельскую бровь.
- Лео, ты презираешь: узь глаза.
- Лео, ты покоряешь: улыбайся, как балерина.
- Лео, ты чудный парень: ямочки на щеках.
- Лео, ты мечтаешь: рассматривай свои ногти.

2.

Хорошо ему: "Лео". А вот как вывернешься из положения, когда тебя зовут: "Мишка". Выпасть разве: "Михаил".

Но я думал о том, что сказать "Михаил" вместо "Мишки", значило бы соврать. Я, собственно, это и сделал бы при других обстоятельствах с легким сердцем; я человек не принципиальный. Я совсем не Саша Фрабер. Это он, выскорлупившись от столичной народovolки и нерчинского попа, все делал по житиям прудонов:

- Я принципиально не верю.
- Я принципиально не даю взаймы.
- Я принципиально не курю.
- Я принципиально приношу завтрак из дома.
- Я принципиально хожу в баню по вторникам.

Мне, конечно, ничего бы не стоило сказать: "Меня зовут Михаил". Лео, весьма, вероятно, на первых порах принял это за чистую монету и пустил в обращение: "Вы любите, Михаил, "Снежную Маску" Александра Блока?", "Неужели вы, Михаил, не любите варенье из дынных корочек?"...

Возможно, что некоторое время я бы чувствовал себя празднично и необычно, как в крахмальном воротничке, одевавшимся под серую гимназическую рубашку в день бала в первой женской гимназии, куда я получал приглашение от двоюродной сестры, зеленоглазой горбуни.

Через полчаса после первого вальса, на который я смотрел из-за колонны, крахмальные концы воротничка врезывались мне в подбородок, а запонка впивалась в горло. Я становился несчастнейшим человеком, потому что приходилось поворачивать шею с надменной медленностью, говорить в нос, смотреть свысока, не имея для того никаких оснований — т.е. ни соответствующих лакированных ботинок, ни соответствующего пробора.

Сегодня бы Лео пел, как на скрипке: "Неужели вы, Михаил, не любите варенье из дынных корочек?". А на завтра, придя в гимназию, он услышит: "Мишка, чертов сын, поздравляю тебя с очередным прыщом на носу", "Ребята, Мишке-скотине в срочном порядке требуется девочка", "Ребята, предлагаю в складчину сводить Мишку к мадам Тузик".

Наконец, я припоминаю, что уже в те отдаленные времена, когда я на четверинках пытался переползти нашу Завальскую улицу, более широкую в моих карапузых глазах, чем теперь целая жизнь, мать, свесившись из окна, кричала: "Мишка, в колее утопнешь! Назад скоро рачься, слышь?"

Память, собственно, твердо сохранила только одно первое слово. Но я не сомневаюсь в полной непридуманности остальных, потому что мать с разительной терпеливостью относилась с той же остроткой ко всем моим четырем сестрам и семи братьям, заявлявшимся на свет один за другим без малейшего рассеяния и через совершенно равные промежутки времени.

Рождение человека в нашей семье было событием несколько не важным. Отец обычно сообщал о нем следующей фразой: "А старуха-то моя поутру опять мальчишку выплонула".

Несколько недель тому назад мне исполнилось тридцать четыре года. Если переводить на старинку, по должности я действ-

вительно статский. Партийцы мне говорят: "Товарищ Титичкин". Виднейшие спецы: "Михаил Степанович". Но стоит кому-нибудь вообразить, что стены кабинета непроницаемы, как до меня доносится:

"А у Мишки-то нашего автомобиль отбирают".
 "Ах, бедненький Мишка, он этого не переживет".
 "Припадочный!".
 "Автомобиль, Кузьма Иванович, для Мишки символ".
 "Идиот!".

3.

Не найдя сколь-нибудь удачливого выхода из положения, в которое меня поставил, сам того не ведая, Шпреегарт, я предпочел отделаться мучительным молчанием.

Я смотрел на золотой круг стакана. В нем плавал абажур, обрамленный кленовыми листьями цвета сентября. Я пытался по нему угадать мягкие линии рук, кудреватый узор походки в глубину глаз отцветающей тетушки Лео. Именно она — танта Эля или танта Алис, на имени я не успел остановиться, по моей твердой уверенности, сшила этот абажур ко дню ангела старого Шпреегарта.

Вначале образ отцветающей женщины был для меня туманен, как снимательная картинка, только что принесенная из игрушечного магазина. Но когда я разглядел на абажуре маленькие кровянистые ягоды рябины и причудливо переплетшиеся серебряные нити осенней паутины, — снимательная картинка стала необыкновенно яркой по краскам и точной по рисунку, словно ее перевели на глянцеви́тый лист альбомной бумаги.

Я увидел и слобные ладони сорокалетней дамы, и губы, слегка запекшиеся от позднего чувства, и плечи, гладкие и горячие. Казалось, они больше всего боялись глухого платья.

Вслед за тетушкой, — мне захотелось увидеть его бабу, покойную мать, отца, двоюродную сестру. Я стал искать их в комнате.

Бабка мне представилась в буфете, завладевшем целой стеной и большею частью воздуха и света. Прямые суровые створики. Поседевшее от времени красное дерево. Черные медальоны, свидетельствующие о мрачном характере императора Павла. Звериньи лапы, впившиеся в пол. И я нарисовал образ строптивой старухи, одетой гербами и родословными.

Круглый вращающийся стол на одной ножке, с бантами из карельской березы, уверил меня, что его покойная мать была приветливой и легкомысленной женщиной.

Для того, чтобы познакомиться с отцом, мне следовало пройти в кабинет. Я бы отыскивал отцовские глаза в чернильницах. Его руки — в пресс-папье. Его нос — в пепельнице. Его характер — в том порядке, в каком все эти вещи расставлены на столе.

Наконец, грудастенькая софа, обитая оранжевым бархатом, двусмысленно шепнула мне о двоюродной сестре, — конечно, хохотушке, пухляшке, в золотых кудельках.

— Лео, у вас есть кузина?

— Кузина? Как вам сказать. Если сухопарую лошадь Августу можно назвать кузиной, значит, есть.

Тогда мне пришла в голову обидная мысль, что и во всем остальном я безнадежно напутал. Что его бабушка также не соответствует — буфету, покойная мать — обеденному столу, а тетушка — абажуру, как и моя внешность, мое происхождение (сын кондуктора), моя нелепая манера держаться — не соответствуют, в чем я беспокорливо уверен, моему тонкому внутреннему строению.

Когда выбираешь "между человек", есть смысл вспомнить сквородову притчу о горшечнике и о бабе, которой "амуры молодых лет еще отыгались".

Ткнув пальцем в обоженок, баба спросила:

— А что за сей хорошенький?

— За сей дай хоть три полушки.

— А за того гнусово — вот он — конечно, полушка?

— За тот ниже двух копеек не возьму.

— Что за чудо?

— У нас, баба, — сказал мастер, — не глазами выбирают, мы испытываем, чисто ли звенит.

Странно только то, что за тридцать четыре года никто не заметил моего "звененья". Впрочем, последнее обстоятельство я целиком отношу к непроницательности моих приятелей, сослуживцев, моего отца, матери и моей жены.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

1.

Моя жена!

Я не поворачиваю головы, чтобы ее увидеть. Я боюсь, что одеяло сползет с ее плеча, или ее голая нога выползет наружу. У нее всегда горячие ноги. А у меня всегда холодные. Ночью, во сне, мы враждуем и ненавидим друг друга так же, как и днем. Я делаю из ватного одеяла жаркий мешок, а она его распарывает. Она похожа на раскрытые ножницы.

У нее желтые волосы, живот нежный, как щечка с ямочкой, глаза неряшливее, чем расстегнутая прорешка, и блестящие губы. Словно они сосали золотую монету. И однако невозможно представить, чтобы эти блестящие комочки мяса произносили стихи, целовали ребенка или улыбались чужому счастью.

За то, даже человек бессовестно обделенный воображением, взглянув на них, сразу почувствует все гнусности, им доступные. Будто слюна, слова, романсы и поцелуи имеют резкую и твердую форму.

Ее губы, переняли предательские контуры, как шляпа, пиджак, жилетка, брюки или ботинки перенимают форму плеч, грудной клетки, таза, черепа или ступни. А переняв, сохраняют даже валяясь под кроватью (ботинки), будучи перекинутыми через спинку стула (брюки), на вешалке (пиджак), на гвозде (шляпа).

2.

Июльское утро. Туман вытек на город из сырого яйца. Мы едем с Лео на "Митчеле" вдоль Страстного бульвара. Истощенные липы держат в трясущихся ладонях маленькие, пыльные, пахучие цветы.

Лео сидит на машине важно, раскидисто. А я притулился. Меня, конечно, принимают за его писца. Вечером, когда я буду возвращаться со службы, я тоже положу ногу на ногу, прищурюсь и буду небрежно пощелкивать пальцами по фиолетовому кузову машины.

Я посажу в автомобиль делопроизводителя Моськина. Он для этого подходящ — не выпячивается, не дымит папироской, не размахивает руками. Когда Моськин сидит в машине, по мне не ползает скользкое беспокойство, и я не ерзаю на кожаных желтых подушках от страха, что меня принимают за шнурок от его щиблеты или за обкусок его судьбы.

— Мишка, останови машину у того дома.

Улыбающееся окно второго этажа задернуто синеватой занавеской. Занавеска обшита кружевами, как панталоны.

— Подожди.

— Мне некогда.

— Ладно, потороплюсь.

И он выскакивает из машины.

Я закуриваю. "Конечно, он в комнате с улыбающимся окном".

Я жую дым, томя кусок супового мяса, плохо вываренного. Шофер барахтается под машиной.

Сквозь занавеску просовывается голова в желтых, смятых, незастланных волосах. Шея женщины обвязана, как шарфом, рукавами. Я узнаю полоску на лионезе.

Женщина оглядывает автомобиль, меня. Сквозь сиреневатость я различаю тело легкое, как струйка дыма, выпущенная курильщиком из ноздри.

Желтая голова исчезает. Струйка дыма, выпущенная из носа, рассеивается.

Но в моем воображении она еще дотаивает, рассыпавшись на серебряные кольца.

Выбегает Лео. Он вытирает носовым платком рот: отвращение, брезгливость, лопнувшие пузыри чужой слюны, комочки губной помады.

Спрашивает:

— Быстро?

Желтая голова снова появляется в окне. Я запоминаю опорожненные глаза, запечатавшие лицо капельками голубоватого сургуча.

Будто случайно распаивается занавесочка. Серебряная струйка дыма ест мне глаза.

Гагачья пушинка с рукава моего друга пересаживается на мою гимнастерку. Я счастлив. Я незаметно отстраняюсь, чтобы она жестокосердно не перепорхнула обратно. Возможно, я бы даже решился украсть ее — эту пушинку.

"Конечно, конечно, у меня бы хватило на это подлости". И я не смотрю в глаза моему другу.

3.

Любовь.

Я вспоминаю философа, игравшего на человеческих сердцах с наименьшей приятностью, чем на скрипке, флейтравере, бандоре и гусях. Я советую себе то же, что посоветовал он отшельно Божьей премудрости молодым харьковским дворянчикам.

"Пожалуйста, не любопытствуйте, как это, сия премудрость, родилась от отца без матери и от девы без отца, как-то она воскресла и опять к своему отцу вознеслась и прочая. А поступайте и здесь так, как на опере, и довольствуйтесь тем, что глазам вашим представляется, а за ширмы и за хребет театра не заглядывайте".

Любовь!

Нечто подобное происходит с нами, когда вдруг, с необъяснимым рвением, мы тратим в лавке старьевщика все содержимое нашего тощего кошелька на никому ненужную вазу, только потому, что она стояла в вестибюле какой-то родовитой дуры времен Екатерины. Или, ни с того, ни с сего, заводим узорчатого, как немецкий галстук, дога, который становится нашим деспотом. Если до счастливого приобретения мы без особых трагических последствий, позволяли себе раз в неделю выпить бутылку вина или съесть сибирского рябчика, то теперь это становится недостижимой мечтой. Зато прелестная "собачка" жрет все, что ей заблагорассудится. В лютый морозище ночью, когда ей вдруг приходит в голову фантазия прогуляться, и мы вылезаем из теплой кровати, прерывая на самой интересной странице книгу или обезглавливая замечательное сновидение, которому не суждено повториться, чтобы дрожь от холода сопровождать нашего четвероногого друга от тумбы к тумбе.

Вообще, я давно пришел к заключению, что мы бесконечно много тратим энергии, хитрости, изобретательности и остро-

умия, чтобы сделать свое собственное существование наименее сносным.

4.

— Не правда-ли, Семен Абрамович, до чего изменилось подполье.

И Лео полил растопленным маслом головку спаржи, оттененную благородной зеленоватостью старинной бронзы.

— Раньше в подполье печатали прокламации или начинали пороховом и ненавистью бомбы, а теперь...

Он кровожадно насадил на вилку растение, напоминающее женский палец, выставленный в витрине парикмахерской под дощечкой с надписью "холя ногтей".

— ...а теперь, Семен Абрамович, приходится итти в подполье, чтобы съесть свиную котлету. В сущности, чернокудрые социал-демократы и патетические эсэры в те времена гораздо меньшим рисковали, чем вы, Семен Абрамович, сегодня. В худшем случае, за нелегальную новеллу в духе Фридриха Энгельса пылкий, но непристроенный журналист уезжал на годик-другой в очаровательную Северную Азию.

Лео наполнил стакан тепловатой кровью винограда.

— Я положительно, Семен Абрамович, восхищен вашим мужеством. Вы кушаете с аппетитом свиную котлету, прекрасно зная, что в годы военного коммунизма она может послужить, так сказать, прямым билетом для путешествия на тот свет.

Бывший фабрикант сделал движение головой, как бы желая убедиться, что она еще не лежит на плахе.

— Если, дорогой буржуа, из-за какой-то свиной котлеты столько людей, столько врагов нашей пролетарской революции...

Лео, не договорив, обвел глазами "подполье". Большая комната, она предпочитала волнующую бледность толченого риса — собственной бледности: матовую туманность электричества — молочности осеннего дня. День, разбившись о квадратные стекла, завешанные портъерами цвета раздавленных ягод поздней рябины, схлынул вниз в улицы, на вылинявшие шляпки, на шерстяные платки, на выгоревшие картузы, на оголенные хребты извозчичьих кляч, на купол часовни, похожий на клистир, на обожравшихся мертвячиной ворон, шикарных и лоснящихся, как цилиндры.

В комнате было человек десять: мохнатый, пугвоносый коллекционер эротических изданий, жаловался писклявым голосом трехлетней девочки на бальзаковский возраст утки, фаршированной яблоками; издатель декадентских поэтов, сутуловатый иронический человек с лицом посыпанным угрями, как черной солью, распиливал куски бифштекса дырявыми деснами. Сынок знаменитой конфетной фирмы, узкобедный ротмистр, стяжавший на галицийском фронте в 1915 году за атаку в конном строю Белого Георгия и торгующий теперь на Сухаревке одесской халвой, очищал полированным ногтем правого мизинца апельсин для более не менее знаменитой балерины. Латышский дипломат свисал с кресла воловьей жилой.

— Скверные шутки, Леонид Эдуардович. Ведь с них всего хватит. Очень даже просто за котлетку к стенке поставят.

— Мы, Семен Абрамович, из любви к человечеству, если понадобится, и за макарону в котлетке расстреляем.

Вокруг столов плавала Ия Петровна. Об антрекотах, пулярках, рассольниках, расстегайчиках, телячьих печенках и куриных пупочках она ворковала шеей, задом, ляжками.

5.

— Ах, Нина Ивановна, миленькая, где же это вы запропасились? Чувствует мое сердце — изменили. Изменила, разбойни-

ца, бессердечно изменила моему шницелю по-венски. Неужто-ж, родненькая, у Агриппины Викторовны вкуснее?

— Ах, Ия Петровна, какие вы ужасы говорите. Я-же на иконку, Ия Петровна, перекрестилась, что никогда в жизни вам не изменю. Хотя, должна вам откровенно сказать, Ия Петровна, что у Агриппины Васильевны шницеля стали — мечта. На язычке тают.

ОНА!

Лео зовет:

— Ниночка, Нина Ивановна.

Но она не слышит. Она стоит перед стеклянной горкой. Под стеклом вместо саксонского фарфора, лежат пирожные: эклеры, лопающиеся от высокомерия, трубочки — истекающие безнравственностью, наполеоны — отягощенные животиками, безэ — с нетающими снеговыми вершинами, мокко — рассыпчатые, как мораль.

— Нина Ивановна.

Она не слышит. Она парит. Ястреб. Ее глаза наливаются кровью. Пальцы крочатся. Вот они уже превратились в когти. Крылья ноздрей вздрагивают и пунцовеют. Нижняя челюсть отваливается. Через губы, как у спящей старухи переливается слюна. Она сопит, тяжело дышит, дрожит всем телом. Ноги раскрываются, как ножницы.

— Нина Ивановна.

Лео безнадежно откидывается на спинку кресла, потягивается, постукивает коленками:

— Сука!

И смотрит жидкими глазами, как ее тело — проглатывает пирожные. Впрочем, если у нее, вопреки здравому смыслу, есть еще и душа, то и она проглатывает эклер, безэ, трубочку, корзиночку с засахаренными ягодами. У ее души тоже имеются зубы, живот, толстая кишка и ноги, распадающиеся ножницами.

— Кушайте, Нина Ивановна, кушайте на здоровье.

— Кушаю, Ия Петровна, кушаю. Вы не беспокойтесь, я пирожные ваши по пальчикам считаю.

Издатель декадентских поэтов распиливает ее дырявыми деснами; мохнатый коллекционер рассматривает, как скабрзную картину; кавалер Белого Георгия очищает от шелковой шкурки как апельсин; Семен Абрамович обглаживает, будто косточку свиной котлеты; и только латышский дипломат продолжает свисать с кресла воловьей жилой — ему шестьдесят девять лет.

6.

На этой женщине Лео меня женил. Он приложил не мало стараний, он выказал ангельское терпение, устраивать мое счастье, от которого я, после встречи у Ии Петровны, упорно увиливал.

Весьма вероятно, что у меня хватило-бы мужества и окончательно увильнуть от моей нареченной, если бы я вдруг не испытал желанья оказать Лео эту маленькую дружескую услугу.

”Мужество” слово не мое и не Лео, а Саша Фрабера, чудак полагал, что своей судьбой надо управлять твердо и добросовестно, как советским учреждением.

Словом, в чудесный декабрьский день, по гостеприимно похрустывающему снегу, Нина Ивановна перевезла в мою комнату у Патриарших Прудов вместе со своими ”меблями” и саму себя.

Мое скромное, я бы сказал девственно-белое, окно обрядилось в кружевные панталоны. Мои гладкие, незапятнанные уютом стены украсились гравюрочками, открытками, акварельками и шелковым ковром, на котором была изображена разными нитками и бисеренками, полуобнаженная римлянка, возлежащая на кровожадной зебре — полосатой, как брюки. Моя электрическая лампочка сменила свой засиженный мухами газетный колпак на кокетливую шляпу в лентах, бахромках, бархотках

и цветах. Наконец, мой ломберный стол уступил место туалету, почти из красного дерева, а пузырек с высохшими чернилами — флакончикам, вазочкам, пудреницам, тарелочкам, стаканчикам и многочисленным фотографиям моей жены. Причем, всякой позе, выражению лица или платью — очень хитро и искусно была подобрана рамочка. Рамочки были бархатные, бронзовые, картонные, выпиленные, выжженные, сделанные из волос, из перышек, из уральских камушков, из крымских ракушек и невесть его знает, из чего еще.

Но больше всего меня смутила кровать. Она явно была чересчур велика для нас двоих. Я испытал чувство, должно быть, похожее на то, какое испытывает человек из степной полосы, впервые очутившись на берегу моря. Ах, как у меня защемила душа по моей узкой, складной, парусиновой кровати; а говоря аллегорически, по моей родной серебряной, как полтинник, Сура, что протекает в трех верстах от Пензы. Милая Сура, всегда вижу твой второй берег — то зеленый, то глинистый, то пыльный, то лесистый, то оскуделый, то пышный и кудрявый, как Рококо. До чего же я люблю в жизни — этот второй берег. Очень мне нужно, чтоб от безбрежья сердце прыгало блохой в груди, чтоб леденела в жилах жидкая кровь, чтоб икры тряслись мелкой трясушкой.

Я смотрел на необъятный пружинный матрац, на волосяной с пупочками наматрасник, на гагачий наперинник (тут я с грустью вспомнил пушилку, перелетевшую на мою гимнастерку с рукава Лео), на беременные подушки, на миловидные думочки, на льняные простыни, на монастырское стеганое одеяло, — и сравнивал себя с мореплавателем, у которого морская болезнь начинается уже в гостинице портового города за несколько часов до неизбежного отплытия.

Она обвила мою шею:

— Бубочка, отнеси меня на ручках в кроватку за то, что я свила тебе такое чудное гнездышко.

ПЯТАЯ ГЛАВА

1.

Гимназическая слава завоевалась в сортире.

О сортире нижегородского дворянского института, после первого посещения нашего — пустаревского, Лео рассказывал со слезами на глазах.

Я никогда не видел его более одухотворенным, более трепещущим, более взволнованным, чем в те минуты сладостнейших воспоминаний.

— Да пойми ты, Мишка, что это был не ватер-клозет, а лирическое стихотворение.

И рассказывал, попыхая зрачками, будто раскуренными на ветру, о фарфоровых писсуарах, напоминающих белоголовых драконов, разверзших сияющие пасти, о величавых унитазах, похожих на старинные вазы для кроушонов; о сверкающем двенадцатикранном умывальнике; о крутящемся в колесе мохнатом полотенце; о зеркалах, обрамленных гроздьями полированного винограда; о монументальном дядьке в двухбортном мундире с красным воротником и в штанах с золотыми лампасами, охраняющем кроушоновые вазы с бдительностью достойной часового порохового погреба в осажденной крепости.

Я хорошо понимаю, что всякое живое существо, чувство, вещь — достойны опозтизирования. А уж сортир тем более. Но все же мне чудится, что он несколько переусердствовал.

Вообще легкое преувеличение было в его характере. И прежде всего он преувеличивал самого себя.

Но как-же далек был от шпреегартовской грезы, наш поно-

маревский нужник или г а л ь ю н, как его раз и навсегда окрестил рыжезубый классный надзиратель Мишель Нукс — в недалеком прошлом отважный мореплаватель и штурман дальнего плавания.

К счастью я могу уклониться от описания гимназического форума. Разве не всякому известно, что из себя представляет "00" в проходном дворе на лаятельной Трубе или "Pouq les messieurs" в баламутной пивной "Стенька Разин" по Лиговке или перронное — "для м у ж ч и н" на шербарщицкой станцийке южно-русских железных дорог.

Не смотря, однако, на мрачность гальянного колорита, а может быть именно благодаря ему, гимназическим звездам предопределено было в нем — загораться, распухать великолепно или превращаться в жалкие мусоринки.

2.

Ванечка Плешивкин, Жак Воблыедов, Василий Васильевич Свинтуков, по прозвищу Кузькина мать — вот оно, по истине, светозарное трехзвездие гальяна.

До каких необъятных размеров разрослась Ванечки Плешивкин твоя изумительная коллекция известной венерической болезни, которую юные смельчаки с незаслуженной презрительностью называли "насморком"? Я, как сей час, вижу ту может быть самую незабываемую минуту в твоей жизни, когда ты, голосом, дрогнувшим от переизбытка гордости, провозгласил:

— Седьмой.

И как в ответ сотряслись от восторженного рева мрачные своды, источенные ручейками вонючего пота.

Мишель Нукс, перевидавший виды в своей жизни, и улыбающийся себе в бороду при таких штормах, когда заправские матросы одевали чистое белье "чтобы на том свете веселая Мария Магдалина ими не побрезговала" — прибежал в гальян бледный и растерянный. Ворочая рыжими глазами, он выдохнул из себя:

— Дьяволы, что случилось?

Кузькина мать бросилась от радости на могучую грудь бывшего морского волка:

— У Ванечки Плешивкина, с е д ь м о й.

И классный наставник пробасил:

— Ванечка, сукин сын, поздравляю. Мы с тобой ровесники.

Помнится, мне улыбнулась фортуна и я один из первых исхитрился поцеловать Ванечку Плешивкина в нос, не менее выразительный и надменный, чем кукиш, счастливо заменяющий русскому человеку дар остроумия и находчивости.

Жак Воблыедов, закадычный друг Ванечки Плешивкина, отличался матовой бледностью чела, пичужьим носиком и синим отливом волос.

Он приносил в гимназию щипцы для завивки и на большой перемене в нужнике превращал свою голову в мерлушковый парик.

Агафья Тихоновна Полотертова обожала Жакovy черные кудри и матовую бледность. Сорокапятилетняя купеческая вдова была богатейкой во всех отношениях. Трудно сказать, где скопилось у нее больше добра — в кованых ли медью сундуках, в плесневатом ли холоде Ренсковых погребов (по Сенной площади, на Московской улице и у Поповой горы) или в несбыточных плечах, в бюсте, в бедрах, затопляющих розовой волной самые широкие кресла.

Аграфена Тихоновна, допустив по мягкосердечию и неопытности, рокового Жака до своих телесных прибытков, не смогла к собственному удивлению уберечь от слишком сметливого возлюбленного и прочих богатств.

Жак не только поил нас мадерой конца прошлого столетия, поражал зеленоикристой игрой перстня, угощал египетскими па-

пирсами, но и водил по субботам к мадам Тузик, где широко расплачивался золотыми пятерками и десятками, обхлопотанными из крутящейся кассы ренского погребца "Вдова Полотертова с сынами".

Василий Васильевич Свинтухов, по прозвищу Кузькина Мать, не отличался своеобычностью и сверхъестественными, как говорил о себе Жак, наружными качествами; его "коллекция" не шла в сравнение с ванечкиной.

Тем не менее, он принадлежал к трехзвездию. И не без права: Василий Васильевич давал пять очков вперед грандотельскому маркеру Яшке. А был ли хоть еще один человек в Пензе, в Пензенской губернии, а может быть и в целом мире, который бы дал вперед Яшке и выиграл.

Проводя большую перемену в грандотельской бильярдной, Василий Васильевич зачастую опаздывал на четвертый урок.

Но даже суровый законоучитель — нахлобучив брови с деланной деловитостью, встречал его не выговором, а вопросом:

— Выиграл, что-ли?

Василий Васильевич скромно отвечал:

— С большим трудом, батюшка.

— Сколько в лузу-то клали?

— Зелененькую.

— Что маловато?

— Яшка жался.

— Ну, подь сюда, подь.

И законоучитель заботливо стирал полую своей фиолетовой ряссы, с локтей Кузькиной матери въедливый мел бильярдной.

Лео Шпреегарт впервые вошел в нужник с томиком Александра Блока в руках. До чего же это было неудачно.

К счастью, "Прекрасную Даму" увидел только я один. Знакомство с блоковской музой, несмотря на всю подозрительность этой особы, здесь бы не очень лестно истолковали. Сообразив наудачу, мой друг принялся безуспешно записывать книгу в карман. Надо отдать справедливость, у него было развито чувство стилия. Лео ломал и мял блоковский томик с ненавистью.

Так обозлившийся муж щиплет под столом в ляжку свою верную супругу, когда та случайно очутившись в обществе чиновных барынь, от смущения начнет рассказывать, каким способом она "штопает пятки" своему повелителю.

Сейчас я подумываю о том, что человек с сердцем, попав в положение, сходное с Шпреегартовским, страдал бы не за себя, а за "Прекрасную даму".

Так и другой муж не ущипнет до синяка в ляжку свою поскользнувшуюся в разговоре подругу, но даст тревожный сигнал незаметным поглаживанием по коленке или нежным пожатием руки у локтя.

К сожалению, мы хорошо разбираемся в чувствах, когда они уже не существуют, или существуют весьма относительно, как, скажем, бессмертие, — то есть в воспоминаниях.

Когда металл затвердеет и потеряет окраску пламени, очень просто отличить золото от меди и платину от серебра.

Страдание Лео проникло в меня на манер несложной, уличной песенки, впечатлевающейся в нас помимо воли: вот шарманщик в последний раз с собачьей безнадежностью оглядывает скупые окна, перекидывает ремень через плечо, пересыпает редкие гроши из шапки в карман и уходит со двора, волоча за собой босоногую детвору, словно разбившуюся на мелкие осколки тень, — а простенькая песенка продолжает звенеть в наших ушах.

То, что в редких случаях удавалось Шекспиру, Толстому, Рембрандту, или Бетховену — далось ей, мы растроганы, да еще как!

4.

Проклина добросовестность переплетчика и плодovitость

Блоковской музы, я с затаенным дыханием следил, как белые пальцы моего друга стремились с отчаянием, увеличивающим безуспешность, засунуть книгу в поперечный карман брюк.

“Ах, только бы не случайный взгляд Ванечки Плешивкина, не роковой поворот головы прекрасного Жака”.

И мои глаза встретились с глазами Лео. Мог ли я дольше колебаться?

Разумеется “Прекрасная Дама” была мне милостиво уступлена. Конечно, она была через миг у меня обнаружена Ванечкой Плешивкиным.

Потряса томиком Блока над головами, он завопил:

— Ребята, а Мишка-то, олух, стишки читает.

Жак сказал недоверчиво:

— А ну-ка, Ванечка, покажи.

— Стишки, ей-Богу, стишки. Ну и осел!

— А знаешь, Мишка, я давно предполагал, что ты дерьмо.

Вздыхнул Василий Васильевич.

— У него, у дурака, потому прыщи на роже и скачут, что все стишки читает.

Класный наставник, сверкнув рыжими зубами:

— К б... бы лучше сходил, болван.

— Предлагаю пустить Мишкину “Прекрасную Даму” на подтирку.

Нужник заорал:

— Пустить!

Ванечка Плешивкин с внушительной торжественностью принялся обделять гальюнщиков листиками, отмеченными неувяданьем.

— Разрешите предложить и вам? — обратился он с некоторой выкопартностью к Шпреегарту.

— Благодарю.

И мой друг, взяв листик, смял его, как обыкновенно мнут предназначенную для известной цели бумажку:

— Непременно воспользуюсь.

Фраза Шпреегарта произвела хорошее впечатление. А я повторял нешевелиющимся ртом: “благодарю вас, непременно воспользуюсь”. Ну и дрянь. И мое тело вдруг стало необычайно тяжелым: я не знаю, все ли этому подвержены, но что касается меня, то всякое настроение я ощущаю, как нечто имеющее определенный физический вес, плотность, температуру.

Меня можно наполнить кипящим оловом или гвоздями, как мороженицу набить снегом, как мешок насыпать картошкой, или надуть кислородом, будто резиновую подушку, для задыхающегося сердечного больного.

Но тут же Жак извлек из кармана портсигар и предложил моему другу знаменитую египетскую папиросу.

Лео откланялся:

— К сожалению, я не курю.

Сортир замер. Гвозди мгновенно из меня высыпались. Я прохрипел.

— Лео не курит папиросы. Он предпочитает сигары.

— Да, знаете ли, я предпочитаю сигары.

Моя услуга была отлакирована интонацией столь тонкой, рассеянной и блестящей, что ложь, даже в моих глазах, превратилась в правду.

Кукиш Ванечки Плешивкина налился пурпуром и ревностью.

— А скажите, Шпреегарт, у вас был триппер?

— Нет, не было, но...

— ...я. видите ли, очень побаиваюсь, не произвела ли меня одна девочка в полные генералы.

Он снисходительно положил руку на ванечкино плечо:

— Кстати, Плешивкин, не слышали ли вы с л у ч а й н о...

Это “случайно” сделало Шпреегарта великим в моих глазах.

— ...кто у вас в городе лучший венеролог?

Ванечкин кукиш стал белым.

Жак взял моего друга под одну руку, Василий Васильевич под другую, класный наставник раболепно распахнул дверь. Подобострастные гальюнщики расступились. Я крикнул:

— Лео.

Но он по всей вероятности не расслышал. Дверь с треском захлопнулась перед моим носом.

(Продолжение следует)

Leonid
PINCHEVSKY



avril 18 — 18 mai

**GALERIE
MARIE
-THÈRÈSE**

73 QUAI DE LA TOURNELLE
75005 PARIS

Оступившегося — ТОЛКНИ!

Из книги воспоминаний



КАК-ТО ЯВИЛСЯ В МОЙ БАРАК ГОНЕЦ ОТ СОЛОВЬЯ И ПОПРОСИЛ ПОСКОРЕЕ ЗАЙТИ К НЕМУ. Я УЖ БЫЛО ПОДУМАЛ, ЧТО СОЛОВЕЙ ВСЕ ЖЕ ВНЯЛ МОИМ УГОВОРАМ И РЕШИЛ ПРОСТИТЬ "РАСТРАТЧИЦУ" Валу. Даже стал прикидывать в уме, что он меня попросит сочинить и как бы постараться смягчить его суровый тон и настрой. Всегда жалеешь об утерянной любви, а я жалел воистину вдвойне. Я влетел к Соловью на крыльях еще не написанных строк.

— Ну что, опять дела любовные? — стараясь скрыть возбуждение, спросил я.

— Угадал. — Соловей протянул мне кружку чифира. — Только такая "любовь" кой-кому дорого встанет. Впрочем, и мне то-

же. Видал я в гробу такую любовь. Ты историю про пацана, которого за твой кофе блатные шакалы разукрасили, помнишь?

Я только дернулся всем своим нутром в ответ.

— А помнишь, — продолжал Соловей, — что я тебе сказал тогда — придет время, сочтемся. Ты Витьку Савичева знаешь?

— Это вроде бы славный парень, — стал припоминать я, — из путных, как ты выражаешься. Это с ним, что ли, несчастье случилось?

Я ясно вспомнил, что произошло. Среди бесконечных, тонущих в махорочном дыму и перебранке лагерных дней бывают такие, которые странным образом вдруг возникают в памяти, как проступает на бумаге переводная картинка, едва напомним кто-то вскользь об этом дне, часе, минуте. Едва дотронешься, и все, как наяву... Это было несколько месяцев назад... Начальство придумало возводить новый корпус завода в промзоне, примыкавшей к зоне жилой. Всех сгоняли на общественную работу ежедневно после обычных работ. Эдакий ежедневный ленинский субботник. Отказавшихся тащили в карцер или внутреннюю тюрьму. Брикеты из цемента, смешанного с камушками, весом по пятьдесят килограммов, указано было делать в жилой зоне (в рабочей не хватало места). И затем вереницей эски таскали их через всю зону и вахту и по шатким доскам заволакивали на высоту пятого этажа, где возводили здание каменщики. Все начальство и активисты стояли шпалерами и улизнуть не было никакой возможности. Витька Савичев шел где-то впереди меня по доске с прибитыми ступеньками. То ли у него просто закружилась голова, то ли со злости глотнул слишком много чифира, но его вдруг качнуло, и он рухнул вниз вместе со своей ношей. Каким-то чудом он выжил, оттащили в санчасть, через две недели он пришел в сознание, но собою не владел. Орал, что всех сук и все начальство за издевательство перережет, пусть стреляют, лучше, чем дураком на всю жизнь остаться. Савичева, не дожидаясь поправки, загнали в карцер, а затем во внутреннюю тюрьму. Я отсиживал в карцере очередные десять суток и через коридор слышал его истошные крики: "Бляди! Хлеба дайте! Хлеба хочу! Дайте поесть перед смертью!" Он, как и все долгосрочники из путных, знал, что нужно себя сдерживать, но что-то в нем оборвалось, сдвинулось, и он надрывался: "Суки! Хлеба! Хоть перед смертью!"

— Да, худо парню, — помолчав, сказал я Соловью, — может, кого подкупим, подкинем ему чего-нибудь пожрать?

— Ему уже подкинули, шакалы поганые! — Соловей сжал в руках кружку чифира, словно старался ее раздавить. — Видишь ли, поэт, Савичев этот совсем сдвинулся, но парень он свой. С головой у него неладно. То дверь в камере ломать пытался, а потом стал у своих, у сокамерников пайки пиздить. Жует, его бьют, а он говорит: "Все равно помру скоро, бейте!" Так если бы били, оно еще бы куда ни шло, и так весь искалеченный, ни убавишь, ни прибавишь. Да убили бы лучше, а они его опедерастили, скрутили

и использовали в задницу. Ты же знаешь, по нашим законам человек после этого не то чтобы не человек, а хуже собаки. И в лагере, и на свободе. Если выйдет — посмешище, пугало. Это хуже смерти.

— Странно все-таки, — стараясь хоть на минуту уйти от нахлынувшего ужаса в пустую философию, отметил я, — ведь вот на Западе педерастов этих тьма тьмой, и вроде у них страны католические, так что вдвойне грех выходит. Но ничего, живут себе и спят, как хотят, никто не спрашивает, активный ты или пассивный. Так, только забава для газет. Засудили, правда, Оскара Уайльда, но ведь это черт знает когда было. А наше атеистическое государство за такую любовь пять лет лагерей по закону дает. А на зоне они, кроме лишней пачки маргарина, ничего не получают и спят под нарами, ежели пассивные. А если ты кого-то в зад использовал, уже и не человек, ему и руки нельзя подать, только член промеж ягодиц задвинуть...

Соловей поморщился.

— Слушай, поэт, опять ты понес какую-то хреновину, какой Оскар Уайльд, какая там всеобщая справедливость! Я тебе говорю — путнего парня изнасиловали, на всю жизнь в такую грязь втоптали, из которой и не выберешься! Какое мне дело, что там на Западе, тут свой закон. И по закону я ничего не могу сделать! Он крысятничал, он воровал у своих — значит все с ним могут поступать, как кому в голову придет. Но он же болен, чокнулся! Может, чуть-чуть в себя придет, а они его добивают, шакалы! Как ты мне говорил, я даже в книжку записал, какой-то там мыслитель заявил: "Оступившегося — толкни!" Я тоже по этому принципу, если не всегда жил, так иногда приходилось... Хватит с меня! Знаешь, кто над Витькой этим измывался, — один из дружков Конопатого, "Наждак", по кличке! Восьмой год сидит и Витьку столько лет знает, блатной с понтом весь из себя. Сегодня они все из камер на зону вышли. Я передал этому Наждаку и Конопатому, что, ежели не принесут свои извинения Витьке и не снимут с него клеймо педераста, им не жить. Я тебя вот для чего позвал: я им еще хуже наказание придумал. Пусть этот хренов Наждак перед Витькой в твоём присутствии, политик, извинится. Ты, вроде, человек нейтральный, интеллигент, да и Витька к тебе уважение питает. Ему это приятно будет, может, опомнится, что, мол, не все на него, как на зачуханного, смотрят... А этой мрази заблагованной тем более урок — не положено, чтобы ты, поэт, в разборах вроде судьи был, за падло, это им, вроде, унижительно, так вот пускай проглотят за все хорошее. И за то, что они твоему дружку за банку кофе подстроили. Пусть, суки, по всем счетам заплатят!

— А если не захотят? — спросил я.

— Да, конечно, особым желанием не горят, — отметил Леха и, потянувшись, глянул в окно.

"Какой месяц сейчас? — машинально пытался сообразить я. — Не то сентябрь, не то октябрь, а вон уже, хоть и какая-то убогая, а все же метель кружит над нами". В мелкой сетке липкого снега метров за десять от нас качалась и кружилась сторожевая вышка, и охранник, топтавшийся на ней, безнадежно пытался вывести мотив какой-то идиотской песни: "С чего начинается Родина..."

— Да, снежок пуржит, — усмехнулся Соловей, — скоро зима — и на лыжи...

Мы дружно расхохотались, вспомнив, как нас посадили в карцер за то, что на пяточке перед бараком мы гоняли сшитый из тряпочек мяч.

— Слушай, Соловей, я к тебе обращаюсь, как к бывшему "президенту блатной республики". На ваши разборы, на сходки эти с финками приходят или мнениями обменяться?

— С финками вообще-то не положено.

Соловей не то чтобы верил в неизбежность блатных законов, но просто сам, никогда не держа за душой заранее продуман-

ной подлости, и в других старался подлости этой не предполагать.

В барак Соловья вошел Гешка Безымянов. Молча взял у Лехи кружку чифира, сделал несколько глотков и сказал:

— Ну что, кажется, пора. Пошли.

Мы вышли на то место лагерной зоны, которое шутя называли "бульваром", — узкую полосу между бараками и колючей проволокой. Конопатый и его компания уже ждали нас. Их было восемь.

— А этот антифашистик что здесь делает? — спросил Конопатый. — Ему на наших встречах не место. Нашли мне тоже авторитет!

Леха даже не глянул в сторону Конопатого.

— Так вот, — сказал он, обращаясь к Наждаку, — завтра в присутствии этого самого антифашиста ты принесешь свои извинения Витьке Савичеву за все ваши над ним издевательства.

— Соловей! — сказал Конопатый. — Это уж сверх всякой меры. И ты ответишь за это сейчас же!

— Ну начинайте, — усмехнулся Соловей, — только не приведите вам Господь политика тронуть!

Все как-то на минуту застыли в оцепенении, только дымилась в стиснутых зубах закуренные папиросы. Неожиданно нагрел патруль СВП. Курили мы в неположенном месте. Конопатого они заметили первым и велели идти с ними в штаб, чтобы зафиксировать нарушение режима. Конопатый чуть задержался, и что-то с легким шуршанием упало в снег. Все мы шли медленно сзади, успев спрятать папиросы, делая вид, что просто так прогуливаемся. Леха резко наклонился и поднял из снега две финки и литой кастет. Все замерли. Соловей повернулся к одному из дружков Конопатого, бакинскому вору:

— Забери, вашему главшпану это еще пригодится. А то ведь и правильно сделал — могли бы в штабе на шмоне отнять.

Леха скинул рукавицы и вывернул пустые карманы. То же самое проделал Гешка Безымянов и я.

— Так кто нарушает законы? — спросил Соловей.

Бакинца затрясло, как в лихорадке:

— Я не знал, Соловей, у меня ведь с собой ничего не было, я правда не знал, это подлянка! Я разберусь! Я ручаюсь, что Наждак завтра же извинится перед Савичевым!

Мы разошлись. Леха сказал мне и Гешке с издевкой:

— Вот никогда не думал, что СВП нам жизнь спасет.

На следующий день Наждак явился к бараку Соловья. Вызвали и меня, и Витьку Савичева. Как-то нелепо вертеться и отводить глаза в сторону, Наждак произнес свои извинения.

Витьке подходил срок освобождаться через два месяца. На прощанье он сказал нам с Лехой:

— Этой мрази я все равно никогда не прощу, на свободе сочтемся, если встречу. Но того, что вы для меня сделали, до смерти не забуду.

Зима этого очередного лагерного года была особо лютой и голодной. Режим все ужесточался. Месяцами в ларек не завозили махорки, и зона стонала без курева. Самым шустрим из блатных и то не удавалось накуриться вдоволь. Даже Леха Соловей, обычно раздававший папиросы царственным жестом, в те дни отвечал страждущим:

— Да что я дочь миллионера ебу, что ли?

Однажды, вернувшись с рабочего объекта, Леха вызвал меня. Он едва не приплясывал от радости, что было на него никак не похоже:

— Смотри, какой грев нам с тобой передали!

Я увидел в тумбочке три бутылки коньяка и грудку пачек папирос.

— Приезжал Витька Савичев, — пояснил Соловей, — исхитрился подкупить и шоферов, и конвой. Сказал, что устроился таксистом, женился и со здоровьем все в порядке.

РУССКИЙ СОЦ-АРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

В январе-феврале в двух американских галереях состоялись выставки русских художников, работающих в стиле соц-арт или, как еще говорят, псевдогероическом стиле. Персональная выставка Виталия Комара и Александра Меламида Проходила с 7-го января по 11 февраля в нижнем Манхэттане в галерее Фельдмана. Примерно в это же время в расположенной неподалеку галерее "Семафор" демонстрировались работы пяти художников: Эрика Булатова, Александра Косолапова, Леонида Сокова, Виталия Комара и Александра Меламида.

"Соц-арт" — современное русское искусство, все больше и больше притягивает к себе внимание нью-йоркского зрителя. Большинство работ этого направления были созданы в Нью-Йорке, но сам стиль и его название возникли в Москве в 1972 году. Его зачинателями стали выпускники Строгановского художественно-промышленного училища В. Комар и А. Меламид. Они одни из первых как бы посмотрели на историю своей страны и своего народа со стороны. Ирония или сатира стали неизменными спутниками их творчества в последние годы.

Нынешняя выставка этого тандема — седьмая по счету. Первая состоялась в 1976 году в этой же самой галерее в то время, как сами авторы находились еще в Москве. В последнее время художники используют большие полотна для своих композиций. В этих работах В. Комар и А. Меламид создают противоестественные ситуации, которые вызывают у зрителей смех. Таковы музы, рисующие Сталина в профиль или юные пионеры, в качестве которых художники изображают сами себя, салютующих бюсту Сталина. На фоне гигантского размера картины фигурки пионеров кажутся неестественно маленькими, а ситуация — трагикомической.

Сталин не случайно стал персонажем целого цикла работ художников. В. Комар и А. Меламид объясняют: "Дело в том, что каждый тиран — Сталин ли, Гитлер ли, Наполеон ли — любят как раз помпезную, псевдоклассическую живопись. А в этой нашей серии слились три ностальгии. Ностальгия по академической, реалистиче-



Леонид Соков. "Хрущев-неваляшка", 1983

ской живописи, на которой мы в сталинское время были воспитаны. Ностальгия по детству и по тому, что мы в детстве видели — а наше детство прошло при Сталине. И наконец, ностальгия по российскому имперскому величию, которое для нас когда-то было воплощено в образе Сталина и его мундире генералиссимуса”.

Лица тиранов одинаковы. Портреты Ленина Сталина, Андропова, Хрущева обнажают их однородную сущность. Да, это действительно ”Третья империя”. Комар и Меламид сумели найти очень точное название для цикла портретов вождей.

А. Косолапов экспонирует в галерее ”Семафор” триптих ”Финал всемирной истории”. Триптих состоит из пяти сцен. В одной из них использован миф о Персее и Медузе, как бы для сведения счетов с современностью. Во всяком случае, для меня это было нечто вроде уничтожения одного из соперников тираном. Переноса классицизм в современный сюжет, Косолапов словно насмехается над ним, над его псевдогероизмом. Для создания своего образа, Косолапов не случайно поэтому использует бронзовую скульптуру Бенвенуто Челлини ”Персей”. В триптихе также присутствуют балерина, Ленин, космонавты — неизменные спутники соцреализма.

Забавна и убедительна скульптура Леонида Сокова ”Портрет Брежнева”. Она выполнена из дерева и изображает трибуну, с которой косноязычный ”вождь” читает очередной доклад. Соков использует в своей работе шарнирное устройство. Брежнев предстает перед нами игрушкой или роботом в руках государственного аппарата. Другая, не менее оригинальная работа Сокова из той же серии ”История СССР — лидеры”: ”Портрет Гитлера и Сталина”. Эта кинетическая скульптура изображает двух фюреров с молотками в руках — они делят мир. Соковский портрет Хрущева выполнен в виде игрушки-неваляшки. Очень точно найденный образ ”мирового” лидера, который в точности сам не знает чего хочет. Псевдогероический стиль Сокова берет начало в старинном русском ремесле — лубке. В своих вроде бы незамысловатых, простых по композиции работах скульптор, иронизируя, раскрывает суть и сущность ”своих героев”.

Самым значительным художником ”соц-арта”, находящимся в Советском Союзе, является Эрик Булатов. На выставке очень интересна его работа ”Опасно” 1972-1973 гг. В этой картине чувствуется страх и напряжение, в которых ежедневно пребывает советский человек. Как видно, Булатов не может относиться столь хладнокровно, словно бы со стороны, к настоящему своей страны, как художники-эмигранты.

SOTS ART:



RUSSIAN MOCK-HEROIC STYLE

ERIC BULATOV
KOMAR & MELAMID
ALEXANDER KOSOLAPOV
LEONID SOKOV

CURATED BY MARGARITA TUPITSYN

JANUARY 4 - 28, 1984

OPENING: WEDNESDAY, JANUARY 4, 5-8 PM

SEMAPHORE GALLERY

462 WEST BROADWAY NEW YORK 10012 212 . 228 . 7990

Экспонированная на этой выставке картина Комара и Меламида ”Натюрморт с Марксом и Энгельсом” уже одним своим названием выражает отношение художников к бородатым философам, чьи скульптуры и портреты бесчисленное число раз (и всегда по обязательным канонам) тиражируются в творчестве отцов, детей и внуков социалистического реализма.

ВАЛЕРИЯ СУСАНИНА

Читайте в следующем
номере «Стрельца»

Проза: Юз Алешковский,
Анатолий Мариенгоф,

Марк Зайчик

Поэзия: Сергей Стратановский,
Марина Темкина

Интервью с Владимиром
Максимовым и Оскаром Рабиным

Воспоминания Вячеслава
Сысоева

Статьи о выставках, рецензии на новые книги

Ольга Шакова

«Душа к губам прикладывает палец...»

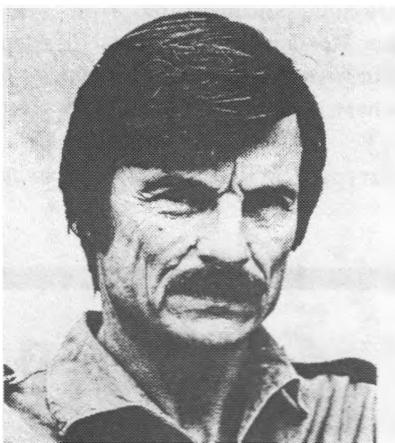


”Я хотел бы выразить частную точку зрения: человечество делится на две категории. К первой относятся люди, считающие, что они рождены для счастья ... Я принадлежу к другой. Я думаю, что мы появляемся на свет для того, чтобы духовно расти. Если мы умираем хоть чуть-чуть духовно выше, чем родились, то можно сказать, что наша жизнь была прожита не зря... Я горячо верю в то, что человеческий дух, человеческая душа — бессмертны. Если бы я не верил в это, я бы не смог прожить и десяти минут, потому что моя жизнь потеряла бы для меня всякий смысл. Если эта бессмысленность — цена счастья, если она равнозначна счастью, то счастье — не мой удел. В этом мире есть вещи поважнее счастья...” Эти слова Андрея Тарковского, одного из немногих кинорежиссеров, для которых кино — это самостоятельная форма искусства, почти не связанная ни с журналистикой, ни с театром, ни с литературой, ни с живописью. Разве что с поэзией:

Почему, скажи, сестрица,
Не из райского ковша,
А из нашего напиток
Захотела ты, душа?

Человеческое тело
Ненадежное жилье,
Ты влетела слишком смело
В сердце темное мое.

Тело может истомиться,
Яду невзначай глотнуть,
И потянешься, как птица,
От меня в обратный путь.



Но когда ты отзывалась
На призывы бытия,
Непосильной мне казалась
Ноша бедная моя, —

Может быть, и так случится,
Что, закончив перелет,
Будешь биться, биться, биться —
И не отомкнут ворот.

Пой о том, как ты земную
Боль, и соль, и желчь пила,
Как входила в плоть живую
Смертоносная игла,

Пой, бродяжка, пой, синица,
Для которой корма нет,
Пой, как саваном ложится
Снег на яблоневый цвет,

Как возвысилась пшеница,
Да побил пшеницу град...
Пой, хоть время прекратится,
Пой, на то ты и певича,
Пой, душа, тебя простят.

Это стихи его отца, удивительного поэта Арсения Тарковского. Вряд ли можно найти более тесную связь между кино и поэзией, чем между кино Андрея Тарковского и поэзией Арсения. И дух, и весь настрой, и ассоциации у них общие. Одна из тем самого камерного, автобиографического фильма Андрея Тарковского ”Зеркало” — преемственность поколений, переход духа от отца к сыну и, может быть, к внуку... ”На свете смерти нет. Бессмертны все... Стол один и прадеду и внуку. Грядущее свершается сейчас... Я и сейчас в грядущих временах, Как мальчик, привстаю на ступенях”, — писал Арсений Тарковский в стихотворении ”Жизнь, жизнь”.

У Тарковских общие образы, просто воплощенные по-разному. Например:

... И теперь мне снится
Под яблонями белая больница,
И белая под горлом простыня,
И белый доктор смотрит на меня,
И белая в ногах стоит сестрица
И крыльями поводит. И остались.
А мать пришла, рукою поманила
И улетела...

Эта строфа удивительно напоминает сцену из "Зеркала", в которой у постели умирающего главного героя сидит мать, врач и соседка, странная старая женщина, живущая старыми дневниками и письмами. И разговаривая с доктором, она вдруг поворачивается, будто "крыльями поводит".

Сценарий фильма "Зеркало" назывался "Белый день". В нем был такой эпизод: "Я услышал мужской, знакомый и неповторимый голос: "Марина!" В ту же секунду мы мчались в сторону дома. Я бежал со всех ног, потом в груди моей что-то прорвалось, я споткнулся, чуть не упал, и из глаз моих хлынули слезы. Все ближе и ближе я видел его глаза, его черные волосы, его очень худое лицо, его офицерскую форму, кожаную портупею, его руки, которые обхватили нас. Он прижал нас к себе, и мы плакали теперь все втроем, прижавшись как можно ближе друг к другу, и я чувствовал только, как немеют мои пальцы — с такой силой я вцепился в его гимнастерку.

Мне в черный день приснится
Высокая звезда,
Глубокая криница,
Студеная вода...

Но не так важны конкретные совпадения, как единство духа и сути отца и сына. Строчки Арсения Тарковского:

Когда я видел воплощенный гул
И меловые крылья оживали,
Открылось мне: я жизнь перешагнул,
А подвиг мой еще на перевале.

Мне должно завешание могил,
Зияющих, как ножевая рана,
Свести к библейской резкости белил
И подмастерьем стать у Феофана,

...соответствуют скорее букве, нежели духу фильма "Андрей Рублев". Духу же его, как, впрочем, духу и настроению всех фильмов Андрея, вторит другое стихотворение, которое именно поэтому имеет смысл привести полностью:

В последний месяц осени, на склоне
Зуровой жизни,

Исполненный печали, я вошел
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт молочно-белым
Стеклом тумана. По седым ветвям
Стекали слезы чистые, какими
Одни деревья плачут накануне
Всеобеспечивающей зимы.
И тут случилось чудо: на закате
Забрезжила из тучи синева
И яркий луч пробился, как в июне,
Как птичьей песни легкое копьё,
Из дней грядущих в прошлое мое.

— Ты насовсем?.. Да?.. — захлебываясь, бормотала сестра, а я только крепко-крепко держался за отцовское плечо и не мог говорить.

Неожиданно отец оглянулся и выпрямился. В нескольких шагах от нас стояла мать. Она смотрела на отца, и на лице ее было такое страдание и счастье, что я невольно зажмурился".

Этот эпизод в фильме — весь осенне-золотой. Захлебываясь от счастья, дети бежали к отцу по роще, устланной золотыми осенними листьями. А из дома на них смотрела мать, и казалось, что вся комната освещена золотом ее распущенных волос. И из позабытой на столе раскрытой книги задумчиво наблюдал за ними рыжий сангиновый автопортрет Леонардо да Винчи...

У Арсения Тарковского есть стихотворение, которое называется "Белый день". Оно написано нарочито по-детски:

Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день...

...Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.

Таинственное мерцание звезды в колоде в первом фильме Андрея "Иваново детство" переплетается со строчками его отца:

И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хороров,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

Ни от одного фильма Андрея Тарковского, пусть все они выдержаны в самых мрачных тонах, не остается чувства безыс-

ходности. Он всегда оставляет надежду. Появляющийся неожиданно в финале черно-белого "Андрея Рублева" цвет, сияющая самыми чистыми и радостными красками "Троица" — после всех ужасов, пережитых Рублевым, — переполняют нас ощущением счастья. Конец самого тяжелого и гнетущего из его фильмов — "Сталкера" — настоящая встреча с чудом. После всего цинизма и отчаяния, которыми пронизан фильм, — реальное чудо: любовь. Любовь преданной, усталой, много пережившей женщины. В ее обращении к нам — "А я... никогда ни о чем не жалела... Много, конечно, плохого было, и горя... но ведь много и хорошего было. Ведь если горя бы не было, то и счастья не было бы тоже, правда же?.." — больше надежды и веры, чем в любом благополучном конце.

Эта тема любви и вины перед женщиной очень важна для Тарковских. Она есть и в "Солярисе" и в "Сталкере", и, особенно, в "Зеркале". Мужчины заняты своими делами, они улетают в космос, уходят в Зону, да, наконец, просто уходят, а женщины остаются со своей любовью. И, пожалуй, в какой-то мере искупить свою вину удастся только герою "Соляриса", Крису, который начинает относиться к призрак своей умершей жены так, как не относился к ней при жизни, отчего она и покончила с собой...

...Увидеть такую тебя,
чтобы вечно была ты со мною,
И крыл твоих, глаз твоих, губ твоих,
рук — никогда не печалить...

Еще одно очень важное для отца и сына чувство — чувство времени. В фильмах Андрея Тарковского оно выражено плавным течением воды. Вода струится в реке и мерцает, отражая звезду, в колоде в "Ивановом детстве". Она переливается в реках и ручьях в "Андрее Рублеве" и "Солярисе". Начиная с "Зеркала", ей придается все более мистическое значение; она шумит в ливнях, ручьи прокладывают свои русла прямо сквозь старые дома, вода льется с потолков, как это было в "Сталкере" и "Ностальгии" — двух последних и наиболее близких друг к другу по изобразительному решению картинах Тарковского-младшего. "Вода... бессознательный способ выразить в осязаемой форме чувство времени, которое для меня — наиболее важная тема. Когда я вижу всю эту воду вокруг меня и отражение света в воде, мне кажется, что вся вода мира — одна молекула, и это дает мне ощущение единства сути. Вода для меня — кровь материального мира", — говорит Андрей Тарковский. Чувство времени...

...И вправду чуден был язык воды,
Рассказ какой-то про одно и то же,

На свет звезды, на беглый блеск слюды,
 На предсказание беды похожий.
 И что-то было в ней от детских лет,
 От непривычки мерить жизнь годами,
 И от того, чему названья нет,
 Что по ночам приходит перед снами,
 От грозного, как в ранние года,
 Растительного самоощущенья.
 Вот какова была в тот день вода
 И речь ее — без смысла и значенья.

И если вода — это "кровь материального мира", то стены Андрея Тарковского, ободранные, как саднящие раны, старые стены, наверное, его изодранная в клочья кожа. И этот окровавленный мир становится частью Человека, так же, как Человек становится частью его. Одинокий Человек посредине мира: Иван, чья Вселенная — война, Андрей Рублев — часть нищей, замученной татарами, но великой России, Крис Кельвин, мир которого — болезненное и причудливое переплетение противоречивой Земли, где уживаются прозрачные ручьи и заполненные машинами мегаполисы, со страшным мыслящим океаном чужой планеты, Алексей, чья Вселенная — его внутренний мир, истерзанный воспоминаниями и виной перед близкими, Сталкер, для которого "езде тюрьма", кроме таинственной Зоны, и, наконец, Андрей Горчаков, чья неуютная Вселенная, как ему кажется, Италия, а на самом деле — весь мир, холодный равнодушный мир, в котором никто никого давно уже не пытается понять.

Я человек, я посредине мира,
 За мною мириады инфузорий,
 Передо мною мириады звезд.
 Я между ними лег во весь свой рост —
 Два берега связующее море,
 Два космоса соединивший мост...

И финалы "Ностальгии" и "Соляриса" очень схожи. В последних кадрах "Соляриса" мы видим домик, в котором родился и вырос Крис. Камера отъезжает, и оказывается, что этот домик — воплощение памяти Криса о своих корнях, о том, что он человек, — находится на поверхности мыслящего океана Соляриса, с которым Крис отныне связан навеки. В конце "Ностальгии" Андрей видит себя сидящим у дома, где он родился, на берегу озера. В озере отражаются огромные аркады полуразрушенного сестерцианского аббатства Сан-Гальяно, преследовавшего Андрея в его снах. Камера отъезжает, и мы видим, что и дом, и озеро, и лес на горизонте находятся внутри стен этого аббатства.

Фильмы Андрея Тарковского часто перекликаются между собой, будучи неразрывно связанными с его внутренним миром. Льющаяся с потолков вода в "Сталке-



Николай Бурляев в фильме "Иваново детство" (1962 г.)

ре" и "Ностальгии", неизвестно откуда появляющаяся и неотступно следующая за героями овчарка в этих же фильмах... Финалы "Соляриса" и "Ностальгии"... Лошади под ливнем на острове в последних кадрах "Андрея Рублева", похожие на лошадей, везущих яблоки, в снах Ивана... Улыбка Марии в "Зеркале", слабая и беззащитная, и так странно напоминающая улыбку маленького Ивана...

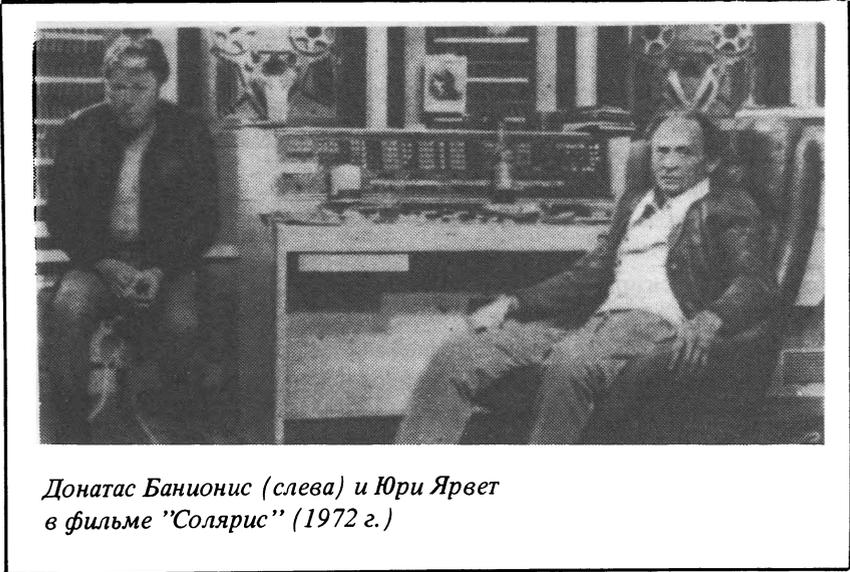
...И это снилось мне, и это снится мне,
 И это мне еще когда-нибудь приснится,
 И повторится все, и все довыплотится,
 И вам приснится все, что видел я во сне.

Там, в стороне от нас, от мира в стороне
 Волна идет вослед волне о берег биться,
 А на волне звезда, и человек, и птица,
 И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне.

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду.
 Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду
 Один, как сирота, я сам себя кладу,
 Один, среди зеркал — в ограде отражений
 Морей и городов, лучащихся в чаду.
 И мать в слезах берет ребенка на колени.



Кадр из фильма "Андрей Рублев" (1966 г.)



Донатас Банионис (слева) и Юри Ярвет в фильме "Солярис" (1972 г.)

* * *

— Говорят, что поэзия, не как литературный жанр, а как способ видения мира, — универсальна. Не может ли она служить связующим звеном между разными культурами?

ТАРКОВСКИЙ: Я уверен, что может. Но это не так просто. Это предполагает, что мы все настроены на одну волну. Гете однажды сказал, что написать хорошую книгу не труднее, чем прочесть ее. В этом вся проблема. Кроме того, мы не можем более жить и творить поэзией. Томик стихов, перед тем как его опубликуют, требует месяцев, лет работы. Кто их оплатит? Общество стало равнодушным к нуждам поэтов и вообще художников. Общество предпочитает игнорировать тот факт, что если эти "юродивые" исчезнут, то и оно само, в свою очередь, будет разрушено.

— Я вижу теснейшую связь между вашими фильмами и поэзией. Ваши фильмы требуют необычного, непривычного для кинозрителя восприятия, которое, в сущности, тесно связано с поэзией. Откуда это?

ТАРКОВСКИЙ: Что такое поэзия? Необыкновенно глубокий и оригинальный способ мышления и видения мира. Поэт — это тот, кто может при помощи единственного образа стать понятным в любом уголке Вселенной. Человек проходит мимо другого человека, смотрит на него, но не видит. Другой смотрит на того же самого человека, и неожиданно улыбается, просто потому, что прохожий, которого он никогда раньше не встречал, вызвал у него какие-то ассоциации, вызвал воспоминания. То же самое происходит с искусством. Поэту достаточно взять фрагмент, для того чтобы пре-

вратить его в связное целое. Тем не менее, гворений Арсения Тарковского "Первые есть люди, которые находят этот процесс свидания" — он сам читает его за кадром в скучным. Это — те, кто хочет знать все, до фильме "Зеркало" — есть такие строчки: мельчайших подробностей, как бухгалтеры "На свете все преобразилось, даже / Просили юристы. Для поэта может быть достаточно описать кончик туфли, выглядывающей из-под кружева, чтобы создать целый мир и вдохнуть в него жизнь...

(Из интервью Чезаре Биарезе с Андреем Тарковским. Рим, 23 марта 1983 г.)

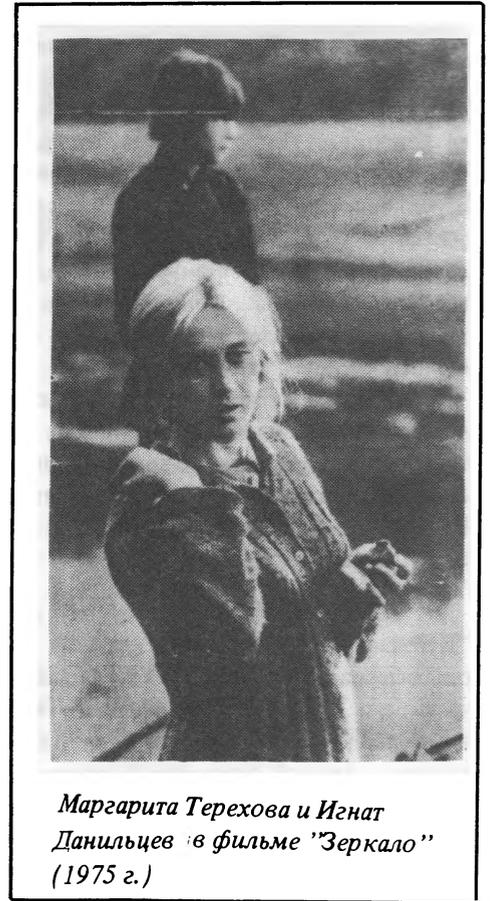
... Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка — слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге острострекокущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.

Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом,
загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове п р а в д а мне виделась правда
сама,
Был язык мой правдив, как спектральный
анализ,
А слова у меня под ногами валялись.

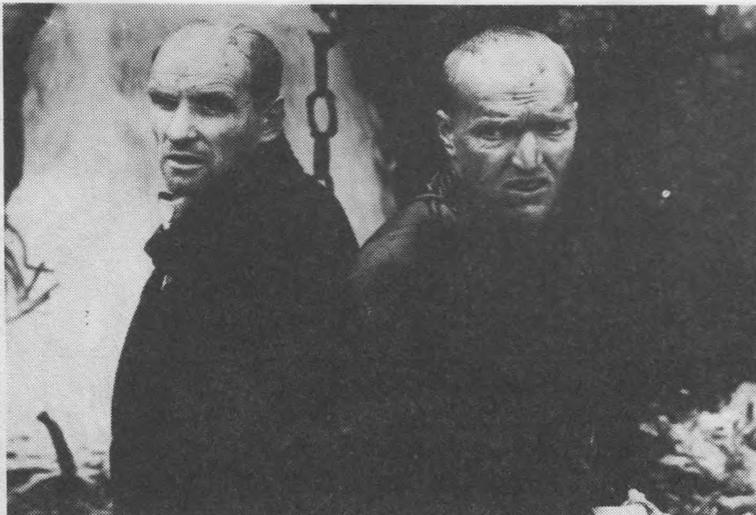
И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я
видел,
Но зато не унижил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел.
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.

В одном из самых знаменитых стихо-

венные предметы в фильмах Андрея Тарковского приобретают какую-то щемящую, невиданную красоту. Таинственное мерцание звезды в колодце... Яблоки, выплескиваемые через борт грузовика на песчаный берег под ноги лошадям... Быстрое течение ручья, распластавшее водоросли... Чайный сервиз и яблоко, забытые под дождем... Красные ягоды, рассыпанные по столу в лу-



Мargarита Терехова и Игнат Данильцев в фильме "Зеркало" (1975 г.)



Анатолий Солоницын (слева) и Александр Кайдановский в фильме "Сталкер" (1979 г.)



Заключительный кадр фильма "Ностальгия" (1983 г.)

же молока, и сыплющийся на них сверху сахар... Раскрытая книга, заложённая в середине пожелтевшим, в коричневых пятнышках, но все еще зеленым листком... Полный воды стеклянный кувшин и свисающий рядом с ним край кружевной скатерти... Буханка хлеба, перекачиваемая ветром по столу... Капли дождя, сыплющиеся с березы... Белые птичьи перышки, падающие на горящие, оплывающие воском свечи в церкви... Брызги дождя, отскакивающие от каменной плиты, на которой стоят, переливаясь под солнцем, две пустые бутылки — зеленая и коричневая... Горящий томик стихов на фоне играющей солнечными бликами воды... Тонкая паутина, за которой просвечивает мокрая зелень и освещенные солнцем струи дождя...

И звуки у Тарковского подчас не менее зримы, чем изображение. Шорох дождя, бьющего по листьям... Звон опрокинутого собакой и катящегося по полу стакана... Шум крыльев взлетающей птицы — только одно перышко падает в воду...

Григорий Козинцев как-то сказал: "Пейзажи Андрея Тарковского не сняты, они выстраданы". Каждый его фильм — это часть его огромного внутреннего мира и внутреннего мира тех, кому он близок и понятен. Андрей Тарковский не стремится быть понятым всеми. Его часто упрекают в

эгоцентризме, но он говорит: "Единственное, что я могу сделать для вас, зрителей, это не идти вам навстречу, но оставаться самим собой, и только в том случае, когда я остаюсь самим собой, я могу действительно разделить с вами что-то или поделиться частью себя". И в этой необходимости оставаться самим собой отец и сын тоже едины:

Когда тебе придется тугу,
Найдешь и сто рублей, и друга,
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.

...Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у него,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

Фильмы Андрея Тарковского бесполезно анализировать. Они не похожи ни на чьи другие. Они идут от духа, а не от разума. Кино Тарковского существует именно благодаря своей близости к поэзии, вне категорий, направлений, движений и разрядов. Его нельзя толковать. Его можно только чувствовать или не чувствовать. Желание Тарковского "поделиться частью себя" ставит нас перед дилеммой: принять внутренний мир кинорежиссера в свой мир — или

отвергнуть его. "В спорах с ним и о нем часто слышится: о сложном надо уметь говорить просто, — писал в статье об Андрее Тарковском кинокритик Андрей Зоркий. — А он всю свою жизнь в искусстве совершает прямо противоположное: он говорит сложно о простом, вечном, изначальном, без усталости стремясь открывать в предмете или явлении суть и нравственную основу. Не в том ли и состоит одно из самых высоких предназначений искусства?"

...Душа к губам прикладывает палец —
Молчи! Молчи! И все, чем смерть жива
И жизнь сложна, приобретает новый,
Прозрачный, очевидный, как стекло,
Внезапный смысл. И я молчу, но я
Весь без остатка, весь как есть — в раструбе
Воронки, полной утреннего шума.

Вот почему, когда мы умираем,
Оказывается, что ни полслова
Не написали о себе самих,
И то, что прежде нам казалось нами,
Идет по кругу
Спокойно, отчужденно, вне сравнений
И нас уже в себе не заключает...

Все стихи в тексте цитируются по изданию "А. А. Тарковский. Стихи разных лет. Москва, изд-во "Современник", 1983 год".

НОВОСТИ ИЗ МОСКВЫ



По сообщению газеты "Нью-Йорк таймс" от 5 февраля с.г. в Москве в Горкоме художников состоялась персональная выставка одного из старейших художников-нонконформистов Анатолия Зверева.





И.В. Сталин на ступеньках мавзолея в 1932 году.

НОЧЬ СМЕРТИ СТАЛИНА



Три недели назад в сумерки промелькнула тень у могилы Сталина, у подножья Кремлевской стены, вдоль Красной площади. На черную мраморную доску были брошены несколько веток мимозы, купленных за три рубля в цветочном магазине.

Это тайное анонимное подношение было единственным жестом, отметившим 10 лет со дня смерти Сталина, о котором ни одна газета, ни одна радиопередача не напомнили советским гражданам.

По официальным сообщениям 5 марта 1953 года в Москве скончался Джугашвили-Сталин. Было три официальных сообщения о его болезни и смерти. Первое — 2 марта 1953 года — коротко сообщает: "В ночь с 1-го на 2-е марта произошло кровоизлияние в мозг." Второе — датированное 3-им марта — подтвердило — у Сталина затрудненное дыхание, моментами принимающее угрожающий характер. Третье — от 5 марта — уведомило: "Во второй половине дня его состояние резко ухудшилось, и в 21 час 50 минут он скончался". Но между официальной версией и исторической правдой существует иногда пробел. Так, для обстоятельств смерти Сталина этот пробел составил 3,5 дня и 84 километра.

Это Хрущев рассказал сам после того, как он, по его словам, держал все это в тайне. Почему же он решил рассказать? Или ему было необходимо освободиться от слишком большой для одного человека тайны, или он не боялся больше открыть секрет?

В течение последних недель он сообщал близким отрывочные сведения о том, что произошло десять лет тому назад. Координируя эти разрозненные совпадающие рассказы, можно полностью восстановить то, что произошло в ночь смерти Сталина. В ночь, когда, по словам Хрущева, мыши похоронили кота. Нужно прежде всего напомнить о погоде, которой были отмечены последние дни зимы 1953 года. Может быть, путь истории был бы иной, если бы последние дни февраля не были отмечены обильными снегопадами и беспредельными сильными ветрами. Улицы Москвы едва начали расчищаться, как сильный мороз сковал снег и из-за гололедицы всякое передвижение было затруднено. Проезд по дорогам вне города был еще труднее. Самая ужасная ночь была 1 марта. Москвичи торопились найти убежище в теплых квартирах.

Хрущев не спал, когда услышал телефонный звонок. Снимая трубку, он взглянул на часы. Было 12 часов. Он только что собирался обругать так поздно бесцеремонно позвонившего человека, как узнал голос, и сердце его начало учащенно биться.

— Говорит начальник охраны товарища Сталина. Вас просят срочно приехать на дачу.

Не могло быть никаких возражений — ни поздний час, ни холод, ни смертельная опасность в поездке на машине за 84 километра от Москвы. Оставалось только ответить:

— Передайте товарищу Сталину, что я буду у него как можно быстрее.

— Срочно, — повторил голос, и человек повесил трубку на другом конце провода. Хрущев позвонил в кремлевский гараж и вызвал машину.

— Моя жена встала, — вспоминал он. Она помогла мне одеться и настояла на том, чтобы я надел два толстых жилета. Когда я надел шубу, натянул шапку на уши, проверил, не забыл ли я перчатки, она пошла за графином водки, налила мне стакан, который я залпом выпил. Она настояла на том, чтобы я выпил еще один.

— В такую ночь, когда даже собаку не выгонят на улицу, это необходимо, — сказала она.

Я обнял ее, не отвечая. Каждый раз, когда меня вызывал Сталин, мы знали, она и я, — очень возможно, что я не вернусь никогда. Машина ожидала меня у подъезда.

Я сел сзади, накрыв ноги пледом, и мы на столе. Не маленький, предназначавшийся для водки, а большой, широкий и глубокий. Мне хотелось зажать его в руке, чтобы боком, из которого пьют грузинское вино. Помешать так сильно биться. При первом повороте, не доезжая до Арбатской площади, хотя машина ехала очень медленно, она скользнула, не могла удержаться, одо край тротуара. Этот удар развеял на мгнове-

ние недомогание Хрущева, и он заметил, ха, особенно, когда я был на 20 лет моложе, что другие машины ехали сзади и спереди. же, но в этот вечер все было по-другому. Он подсчитал машины — их было семь вместе с его. По дороге на Каширу, на дачу Сталина ехали семь членов Политбюро: Молотов, Берия, Маленков, Булганин, Ворошилов, Каганович и Хрущев. Его личные опасения перешли в большую тревогу. Подобную поездку можно было объяснить только одним: войной. И сердце Хрущева, так сильно бившееся несколько секунд назад, почти остановилось.

Война! Однако ничего тревожного не было в последних донесениях. Тогда, может быть, Сталин сам принял это решение? Но против кого? Америки? Это было немыслимо. Красная Армия еще была далеко не готова к атомной войне. Но если Сталин дал приказ... И Хрущев невольно вспомнил другую ночь, почти похожую на эту, в феврале 1944 года. Он находился на Украинском фронте, когда было получено сообщение о срочном вызове Хрущева в Кремль. Но метеосводка была категорична. Снежная буря запрещала все полеты. Этот долгий путь от фронта до столицы ему пришлось проделать на машине вместе с адъютантом. Уже была ночь, когда в Кремле они пересели на другую машину. Всегда происходило точно таким же образом. Никто не знал, где находился Сталин. Он мог быть в Кремле или на одной из его дач.

— В эту военную ночь, — вспоминал Хрущев, — Сталин был на другой даче, ближе к Москве, куда нас привезли, — моего адъютанта и меня. В комнату, в которой находился Сталин, меня ввели одного. Он сидел за белым столом, покрытым картами и бутылками водки, многие из них были уже пусты. По взгляду Сталина, по его поведению я мгновенно заметил, что он был пьян. Под его мундиром из толстого сукна я видел, как выступали мускулы. Его усы блестели и торчали торчком. А его глаза? Его глаза — они как бы изнутри освещались огнем, который ослеплял и гипнотизировал вас.

— Садись, Никита, — сказал он мне. — Долго же ты добирался.

— Иосиф Виссарионович, — ответил я, — посадка запрещена даже почтовым го-

— Чертов Никита! Пей, мой толстый

Я взял один из стаканов, стоявших для водки, а большой, широкий и глубокий, из которого пьют грузинское вино. Я почувствовал, что глаза Сталина пронизывали кожу руки, пока я наливал водку. Я знал ритуал: нужно наполнить стакан до краев, выпить его залпом до последней капли. Водка никогда не внушала мне стра-

и сколько танков потеряно в таком-то секторе, и сколько немецких самолетов отбили в такой-то день. Сталин пил, и я пил. Понемногу мои конечности одеревенели. Я не чувствовал больше ни рук, ни ног, но живот и грудь были, как в огне. И в моей голове звучал голос, мой голос, который без конца повторял: Никита, оставайся с ясной головой, ясной, ясной. Он даст тебе приказ. Нужно, чтобы ты запомнил и выполнил его, иначе ты будешь казнен... Меня должны были донести до машины. Но мне было плохо не столько от водки, которую я выпил, сколько от стыда, который я испытывал, будучи в таком состоянии — генерал, отвечающий за Украинский фронт, — от стыда перед солдатами охраны и моим адъютантом, героем, покрытым ранами и наградами. Я плакал о десятках, может быть, сотнях молодых жизней, которые я должен отправить на смерть, чтобы подчиниться приказам Сталина. Он решил развернуть целый ряд наступательных операций, всех абсолютно бесполезных... Оспаривать приказы Сталина! Отказаться подчиниться! Это означало подписать свой собственный приговор, и другой тотчас заменил бы меня. Никто из его близких, или из его фаворитов не рискнул бы на это. Даже Берия, державший всех под терро-ром своей сети шпионов и доносчиков знал, что и он во власти малейшего подозрения. Все его предшественники на этом посту были расстреляны. Нет, мы должны только подчиниться. И ждать. Но как это ожидание год от года становилось долгим! Обо всем этом не мог не думать Хрущев, направляясь ночью 1 марта на таинственную встречу со Сталиным. Лишь потому, что кремлевские машины были подготовлены для длительных поездок и шоферы знали каждую извилину дороги, кортеж из семи машин проделал 84 километра меньше чем за три часа, и вдали показалась дача Сталина. Эта усадьба была построена в восемнадцатом веке графом Орловым, одним из фаворитов Екатерины, и принадлежала семье Орловых до 1917 года. Она возвышалась среди лесов из елей и обширных садов, перерезанных прудами, окруженных березами и дубами. Сюда чаще всего приезжал зимой Сталин, чтобы забыть заточение своей маленькой квартиры в Кремле. Шли

упорные слухи, что он перестроил часть исключительной предосторожности, кото- в какой из трех комнат находился Сталин. дома по своему собственному плану. Нужно рыми окружил себя Сталин.

было свернуть с Каширского шоссе и углубиться по узкой и извилистой дороге, един- его товарищей, это то, что Сталин изменил архитектуру усадьбу Орловых. Позади дома

леса, усеянного минами и западнями, и было достроено крыло, которое никто из посетителей не мог увидеть. Оно состояло в рабочем кабинете на первом этаже под стена много раз надстраивалась. На веру из трех одинаковых комнат. В каждой из постоянным наблюдением начальника охра- на ней проходила колючая проволока с них была железная походная кровать, ны.

электрическим током. В стене была лишь шкаф из белого дерева, в котором висел одна дверь. Перед этой дверью находилась маршалский костюм, стол, на котором на- охрана. Ни одна машина не имела права ходился телефон, фонограф и груды пласти- а не Сталин.

проехать через эти ворота. Ворота откры- нок — только русские народные песни. Собственноручно на каждой обложке был осознать то, что он рассказал о невероятном тут же закрылись. В тот же миг зажглись написан его отзыв: хорошо, посредственно, и совершенном аппарате безопасности, су- прожекторы, установленные на лужайках замечательно, дрянь. На его стенах висели ществовавшем в секретном крыле.

сада, покрытого снегом, и ослепили нас. фото, приколотые кнопками, вырезанные Как обычно Сталин заказал обед на Двенадцать человек с черными глазами из газет. Освещением служила единствен- 7 часов, но в десять часов он не заказал и лицами твердыми, как гранит их родных ная электрическая лампочка, свисавшая чай. В течение двух часов начальник охра- гор, появились в ночи, направив на приехав- с потолка на шнуре. Кроме того в комнатах ны ожидал звонка. Напрасно. Это случилось своих автоматы. Это были грузины лич- стояли таз, ведро и кувшин. впервые с тех пор, как он был при Сталине.

ной охраны Сталина, набранные им самим Дверь каждой из комнат была оби- Незадолго до полуночи он сам решился и подчинявшиеся только ему. Их начальник та железом и снабжена откидной доской, позвонить по каждому из трех телефонов. вошел в будку, откуда он позвонил по те- на которой мог поместиться поднос. Вдоль Никто не ответил. Тогда он решил позво- телефону, разговаривая на грузинском языке. этих трех комнат тянулся коридор, закан- нить семерым людям, которых Сталин вызы- Когда он повесил трубку, он подошел чивающийся дверью, обитой броней, кото- вал чаще всего. Он не мог взять на одного к прибывшим и обыскал одного за другим. рая откидывалась с помощью электронного себя ответственность взломать дверь в ко- Да, — пояснил Хрущев, — Сталин был уве- механизма, установленного в каждой ком- ридор.

рен, что один из нас мог прятать оружие. нате. По другую сторону этой двери было Молотов решился первый. Нужно бы- Но, если мы все боялись его мании пресе- устроено нечто вроде прихожей без ок- ло взломать дверь. Но начальник охраны лования, то он в последние годы своей жиз- на, где ночью и днем постоянно находились сказал, что это бесполезно без железных ни стал ее первой жертвой. Наш Сталин, пять грузин, вооруженных, как на войне. брусков, которых у него не было. Дверь, товарищ, которого мы знали храбрым до. Четыре стража и их начальник. В этой при- обитая в два слоя железом, могла податься безрассудства, исключительным дарованием хожей стояли только деревянные скамей- только под сильным натиском. Каганови- которого мы гордились, ценили глубокие ки и стол с телефоном, с прямой связью чу пришла мысль послать за домкратами и правильные взгляды, который сохранил с каждой из трех комнат. Четыре раза в и ломками для разбивания льда, находив- партию от уклонов и авантюристов, кото- день, точно в определенные часы разда- шимися в багажниках машин. Все вошли

рый спас СССР своими пятилетними плана- вался телефонный звонок. В 9 часов утра в прихожую. Начальник охраны раздал ми, который, во всяком случае, по мнению Сталин заказывал чай, в час дня — завтрак, в инструменты своим людям, они попытались русских, выиграл войну, он мало-помалу 7 часов — обед и в 10 часов вечерний чай. просунуть их там, где виднелись места замыкался в себе, не доверял никому. Выбранные Сталиным напитки и меню дверных петель.

Сверлящая мысль об убийстве, зародившаяся после трагической смерти Кирова, — не завершилась ли она сумасшествием, грузины. Когда поднос с чаем и едой прино- поддалась первая дверь и стало возможным как мне писала его дочь Светлана? Я не жил в коридор, дверь которого Сталин проникнуть в коридор.

знаю, я не психиатр. Но факт таков, что он автоматически открывал, и ставил поднос шать голос Сталина. Но мертвая тишина жил в полном одиночестве, в плену собст- наугад, на откидную доску любой из ком- встретила их. Нужно было идти вперед, венного страха. Этим объяснялись меры нат. И так даже начальник стражи не знал, взломать двери всех трех комнат. Первая

«Стрелец» принимает объявления от издательств, книжных магазинов, музеев, галерей и другую рекламу, связанную с литературой и искусством.

Расценки на рекламные объявления в рамке

1 дюйм на одну колонку — \$7.00

Четверть страницы — \$50.00

Половина страницы — \$100.00

Целая страница — \$200.00

Объявления и оплату /чеки и денежные переводы/ просьба направлять по адресу:

Tatyana Goerner
104 Corbin Avenue
Apt. 3D Jersey City, NJ 07306
U.S.A

дверь открылась легко. Но тут же началь- с помощью которых он сеял террор, осме- ко один остался во главе СССР — Никита ник охраны замер. Берия отстранил его, лился закричать о своей радости. Хрущев. прошел вперед.

— Я был как раз позади него, — про- когда Маленков позвонил в Кремль, чтобы У докторов, которые в то утро приехали должен Хрущев. — И перед моими глазами вызвать врачей Сталина. на дачу, один вопрос главенствовал над всеми:

был Сталин, одетый в маршалский кос- Ожидая их и после того, как к нам в каком состоянии найдут они Сталина, тьюм, лежащий на полу на спине. присоединился Берия, семь членов Прези- лежащего на полу в своей комнате. Они вы-

Я чувствовал позади себя своих това- диума ЦК держали свой первый совет. шли с серьезным видом и старший из них рищей, проталкивающих меня вперед, же- О чем они говорили, что решили, Хрущев сказал: "Если бы ночью была более благо- лавших также посмотреть. Неожиданно раз- не рассказал, но об этом можно заключить приятная погода, если бы мы были преду- дался голос Берия — пронзительный, скри- из следующих событий. Культ личности преждены быстрее и прибыли раньше, пучий, торжествующий. Сталина достиг тогда своего апогея и, что может быть, мы могли бы спасти великого

— Тиран мертв, мертв, мертв!

Я не знаю, какой мужицкий инстинкт о его смерти с осторожностью. Этим объяс- сделать. Я закрыл ему глаза". Воцарилось заставил меня упасть на колени рядом с няется принятое решение о перевозе теладолгое молчание. Вдруг Хрущев разра- головой Сталина. И тут же я увидел его Сталина в Кремль и об отсрочке извещения зился рыданиями. И Молотов, и Маленков, глаза, смотревшие на меня. Это не были о его смерти на три с половиной дня. и другие плакали над тем, который, несмот-

глаза мертвеца, это были глаза живого Потом возникла проблема в том, ря ни на что, был их старым товарищем, Сталина. кто будет его преемником. Бесспорно, их главой. Один Берия с ледяным спокой-

Я никогда не забуду ледяной дрожи, что было заключено нечто вроде договора ствием спросил:

охватившей меня. Я мгновенно вскочил между членами Политбюро. Наследника — От чего он умер?

и с вытянутыми руками попятился назад. у Сталина не было. Определили правитель- Кровоизлияние в мозг, паралич, уду-

Стоявшие позади меня поняли. Я чувство- ственный триумфват: Молотов, Маленков, шье. — Вот так, — закончил Хрущев, — мы-

стал как они также начали отступать и до- Берия. Несколько месяцев спустя Берия — Вот так, — закончил Хрущев, — мы-

стигли коридора. Вместе с ними всеми попытался изменить договору и захватить ши похоронили кота в ту ночь. я убежал. власть. Это повлекло его арест и немедлен- ную казнь. Спустя несколько лет из всех на, начальник системы с тысячью щупалец, свидетелей этой фантастической ночи толь-

Журнал "Пари матч",
30 марта 1963 г.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

КРУПНЕЙШАЯ РУССКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НА ЗАПАДЕ.
ВЫХОДИТ С 1947 ГОДА.

Новости из Советского Союза и материалы Самиздата.
Публикации в защиту гонимых.

Анализ политической ситуации в мире. Регулярные публикации материалов
о борьбе с коммунизмом. Лучшее в западной прессе освещение событий в Польше.

Постоянные обзоры войны в Афганистане.

Проза. Поэзия. Публикации забытых и редких произведений.

Рецензии на книжные новинки и журналы. Мир искусства.

Жизнь российского зарубежья.

«Русская мысль» выходит по четвергам в Париже.

Подписная плата на год

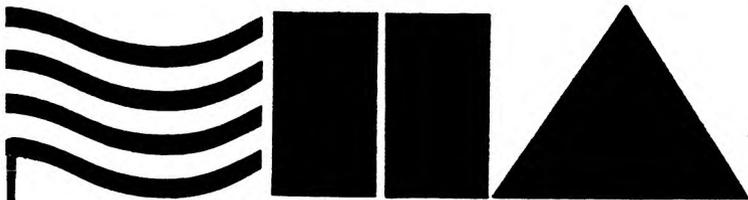
	Обычной почтой:		
	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74 фр.	138	265
Все остальные страны	107	204	397

Воздушной почтой:			
Европейские страны.			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка.			
Южная Африка	146	281	530
Австралия.			
Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под редакцией А. М. Некрича.

Адрес редакции: 217, rue Faubourg St. Honore, 75008 Paris.

Телефоны: 563-94-47, 563-21-83.



Подробнее ознакомиться

с новым "НА"

можно

заполнив купон:



**ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ»**
ПО АДРЕСУ (по-английски печатными буквами):

ИМЯ И ФАМИЛИЯ _____

АДРЕС _____

продление подписки

Цена подписки на год в США — \$ 40

на шесть месяцев — \$ 26, на три месяца — \$ 14

в Канаде — \$ 45 (американских)

в других странах — \$ 65

Авансом по чеку — \$ 145

Заполните и пошлите бланк с чеком или мани-ордером по адресу:

The New American
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
80 Grand St.,
Jersey City, N.J. 07302

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

предлагает



О пакте между Сталиным и Гитлером известно всему миру, известно о нем и советским людям. Однако все документы, касающиеся советско-германских отношений 1939-1941 годов до сих пор засекречены. Советские историки к ним не допускаются. Об этом периоде не пишут, словно его и не было. На него наложено партийное табу. Почему? Ведь советско-германское соглашение было опубликовано в советской прессе тех лет. Да, это так. Но ведь наряду с обнародованным пактом были подписаны и всякого рода секретные соглашения о разделе мира, разделе сфер влияния между СССР, гитлеровской Германией, Японией и Италией. Вот эти соглашения и поныне в СССР закрыты для исследователей. Читатель книги "Советско-нацистские отношения" легко поймет почему руководители СССР так страшатся публикации этих взрывоопасных документов.

Эта книга документов, необходимая каждому серьезному исследователю, изучающему историю советско-германских отношений и историю СССР в целом, читается в то же время, как увлекательный роман, в котором не счесть сюжетных поворотов, рискованных авантюр, закулисных интриг, конечным результатом которых стала самая чудовищная донныне в истории человечества война.

Нью-Йорк, 1983, 350 стр. \$25.00

Чеки и денежные переводы
просьба направлять по адресу:

RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.

799 Broadway, New York, N. Y. 10003. U.S.A.

Просьба добавлять 1 долл. за каждый первый и 50¢ за каждый последующий экземпляр на пересылку.

К жителям Нью Йорка просьба добавлять 8%-й налог к стоимости заказа.

Внимание лиц, проживающих за пределами США:

«Руссика» принимает оплату только в виде
Международных денежных переводов
в долларах США.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
предлагает

ТРЕТЬЯ ВОЛНА 16

